

ГОРОДУ И МИФУ

Новая книга
от лауреата
«Золотого
Роскона-
2011»!



Шимун Врочек —

• ТАНГО
ЖЕЛЕЗНОГО СЕРДЦА

Annotation

"Меня спросили: почему я предпочитаю рассказы?

В кино есть такая штука, как трейлер. Из большого фильма нарезаны куски и ключевые фразы – и сделан мини-фильм. Бывают совершенно изумительные трейлеры для довольно средних фильмов. Бывает и наоборот. Главное, это позволяет выкинуть скучные моменты и взять самое интересное. Самое лучшее.

Нарезка, предельная эмоциональность и динамичный монтаж – вот краткое описание того, что я делаю. Другими словами: я пишу не рассказы. Я пишу трейлеры романов.

Сейчас перед вами мой новый сборник. Называется он "Танго железного сердца" и включает в себя двадцать историй. Двадцать трейлеров, если хотите.

Приятного просмотра! И не забудьте сходить в кино".

Шимун Врочек
Танго железного сердца

I. Советская готика

Высокий прыжок

Охренеть можно, думает старшина второй статьи Григорьев, глядя на гранату, которая только что (прям, блин, щас!) выкатилась к его лицу. Граненая шишка, металлический шар в геометрически правильной фасовке каналов, лежит на расстоянии вытянутой руки – в принципе, можно дотянуться и прижать рычаг – только толку, увы, никакого. Насколько помнит старшина, а помнит он обшарпанный стенд с плакатом: граната ручная Ф-1, вскрыта по оси симметрии; кольцо, пороховой заряд, рычаг, выдернуть и прижать, радиус поражения 200 метров, надпись химическим карандашом «Костя – дегенерат» и стрелка к запалу, похожему на зеленый член в разрезе, – у него осталось секунды три. Потом долбанет так, что мало не покажется.

Два, считает старшина. В ту же секунду пол вздрагивает и слышен потусторонний жуткий скрежет. Это еще не граната. Это означает, что железная коробка, по недоразумению именуемая подводной лодкой К-3, опять задела край полыни легким корпусом.

Правее Григорьева, в ожидании кровавой бани лежит "тарищ адмирал флота". Лицо у него белое, как простыня на просушке. Он выдыхает пар и смотрит. Видно, что перспектива превратиться в тонкий слой рубленого мяса, равномерно размазанный по отсеку, прельщает его не больше, чем простых матросов.

Судя по комплекции товарища адмирала – фарш будет с сальцом.

Григорьев еще немного думает, потом подтягивает свои семьдесят килограмм на руках и укладывает животом на гранату. Еще один способ почувствовать себя полным идиотом. Граната упирается в желудок; холодит брюшные мышцы – это действует как слабительное. Старшина сжимает задницу, чтобы не обделаться. Страшно до чертиков. Почему-то как назло, ничего героического в голову не приходит, а из хорошего вспоминается только белый лифчик, обшитый гипюром. Дальше лифчика воображение не заглядывает, хотя явно есть куда. Обидно.

Один, считает старшина.

237 дней до

– Страшно, товарищ адмирал. У них лица живые.

До Васильева не сразу доходит.

– Что?

В трюме подлодки пляшут лучи фонарей. Маслянисто-черная жижа хлюпает под ногами – воды не так много, видимо, экипаж успел задраить поврежденные отсеки и умирал уже от удушья. Семь лет. Васильев идет за лейтенантом, который говорил про лица. Пропавшая без вести С-18. Лодка в открытом море получила отрицательную плавучесть и легла на дно – если бы не это, у моряков оставался бы шанс. Всплыть они не смогли; хотя насосы главных цистерн еще работали, и электроэнергия была. Проклятое дно держало, как присоска.

– Товарищ адмирал!

Луч фонаря выхватывает из темноты надпись на столе. Царапины на мягкому алюминии сделаны отверткой – она лежит рядом.

«Будь прокляты те, кто научил нас пользоваться ИДА»

Рядом сидит, прислонившись к койке, человек в черной робе. На нем аппарат искусственного дыхания. Теперь адмирал понимает, что означает надпись. Лодку нашли спустя семь лет после гибели – а неизвестный матрос до последнего ждал спасения. Они стучали в переборки, чтобы подать сигнал спасателям. Они пытались выйти через торпедные аппараты. Глубина почти триста метров – значит, шансов никаких. Но они продолжали надеяться – и продлевали агонию.

Если бы тогда, в пятьдесят втором, лодку удалось найти, думает Васильев. Черт.

Ничего. Не было тогда технических средств для спасения экипажа С-18. Ее и сейчас-то удалось поднять с огромным трудом, чуть ли не весь Северный флот подключили...

Под ногами плещется вода с дизтопливом и нечистотами. Адмирал прижимает платок к носу.

«Будь прокляты те...»

Лейтенант резко останавливается – Васильев едва не втыкается ему в спину.

– Что?

Лейтенант присаживается на корточки и переворачивает очередное тело. Светит фонарем. Потом лейтенант смотрит вверх, на Васильева и говорит:

– Видите, товарищ адмирал?

Васильев смотрит и невольно отшатывается.

Молодой безусый матрос – из какой-то русской глубинки. Русые волосы в мазуте. Адмирал чувствует дурноту: матрос уже семь лет, как мертв, но у него розовое лицо с легким румянцем и никаких следов тления.

Он выглядит спящим.

146 дней до

Подводникам положены жратва от пуга и кино пять раз в неделю. А еще им положено отвечать на идиотские вопросы начальства.

– Объясните мне, мать вашу, как можно погнуть перископ?!

– Легко, – отвечает командр.

Григорьев, наделенный сверхчеловеческим чтием, делает шаг назад и оказывается за колонной. Это перископ в походном положении. Отсюда старшина все видит и слышит – или ничего не видит и не слышит, в зависимости от того, как повернется ситуация. Судя по напряженным спинам акустика и радиостах, они пришли к такому же решению.

– Так, – говорит Васильев и смотрит на капитана Меркулова. Старшину он не замечает.

– Я понимаю, – ядовито продолжает адмирал, – что вам перископ погнуть – нефиг делать, товарищ каперанг. Но мне все же хотелось бы знать, как вы это провернули?

– Очень просто, – говорит Меркулов невозмутимо. Потом объясняет товарищу адмиралу, что наши конструкторы, как обычно, перестарались. Заложенные два реактора (вместо одного, как у американцев на "Наутилусе") дают избыточную мощность, и лодка вместо расчетных 25 узлов подводного хода, на мощности реактора 80 % выжимает все 32.

– Разве это плохо? – говорит Васильев.

– У вас есть автомобиль, товарищ адмирал?

Васильев выражает вежливое недоумение: почему у представителя штаба флота, заслуженного подводника, члена партии с 1939 года, не должно быть автомобиля?

— Представьте, товарищ адмирал флота, — говорит Меркулов, — стоите вы на переезде, и тут слева приближается гул, который переходит в рев, свист и грохот, а потом мимо вас на скорости шестьдесят километров в час проносится черная "дура" длиной в стадион и массой под четыре тысячи тонн.

Старшина Григорьев стремительно опупевает, но изображает невидимку. Этот спектакль покруче любого кино, и ему не хотелось бы лишиться места в первых рядах.

— Представили, товарищ адмирал? — спрашивает каперанг Меркулов. Васильев молчит, видимо, у него не такое живое воображение. «Ночевала тучка золотая, — некстати вспоминает старшина, — на груди утеса-великаны».

На чело утеса-великаны наплывает что-то явно тяжелее тучки. Такой грозовой фронт, что адмирал выглядит черным, как угнетенные жители колониальной Африки.

— Имеете в виду вашу лодку? — говорит адмирал наконец. Он уже произвел в уме нехитрые подсчеты, и все складывается: скорость тридцать узлов, длина больше ста метров и соответствующее водоизмещение. Не надо быть Эйнштейном, чтобы угадать в черной «дуре» лодку проекта 627.

— Имею в виду товарный поезд, товарищ адмирал флота. А теперь представьте, что ваша «победа» высунула морду на рельсы... Вот поэтому перископ и погнули, — заканчивает Меркулов.

Даже школьного образования Григорьева достаточно, чтобы понять — какой-то логической сцепки тут не хватает. И тем более понимает это адмирал Васильев, у которого за плечами военно-морская академия. И вообще, этот каперанг его достал.

— Не понял, — говорит адмирал сухо.

— Вода, — объясняет Меркулов. — Поверхность. Я приказал поднять перископ, чтобы не идти вслепую. А удар на скорости оказался очень сильным, его и согнуло... Потом еле выпрямили, чтобы погрузиться. Эх, надо было делать запасной, как у американцев.

Каперанг говорит про «Наутилус» — первую подводную лодку с атомным реактором. Американцы успели раньше, еще в пятьдесят пятом. В том же году вышло постановление Правительства о создании советской субмарины с ядерным двигателем. Но только сейчас, спустя четыре года, К-3 вышла на ходовые испытания. Первый советский атомоход.

Кстати, у «Наутилуса» действительно два перископа.

Зато можно сказать, что у Меркулова единственный профессиональный экипаж на весь Союз. Несколько лет подготовки — сначала на берегу, при Обнинской атомной станции, потом на макете лодки, а дальше на живой К-3, на стапелях и в море. И никаких сменных призов. Впервые на флоте весь экипаж набран по контракту — одни сверхсрочники и опытные матросы. Меркулов костьюми лег, но выбрал.

Проблем, конечно, все равно выше крыши.

Например, этот Васильев, больше известный как Дикий Адмирал. Приехал смотреть результаты ходовых испытаний.

Ну что ж, каперанг Меркулов может результаты предоставить.

На скорости выше пятнадцати узлов гидролокатор бесполезен.

На скоростях выше двадцати узлов от вибрации болят зубы и выкручиваются болты.

На скорости тридцать узлов появляется турбулентность, про которую раньше на подлодках и не слыхали. Зато американские противолодочные корабли теперь К-3 не догонят — силенок не хватит. Зато нас слышно на весь мировой океан.

И вот тут мы погнули перископ, говорит Меркулов.

– Еще «бочки» эти дурацкие текут постоянно, – продолжает капреранг. Слушай, Дикий Адмирал, слушай. – На них уже живого места нет.

«Бочки» – это парогенераторы. Система трубопроводов первого и второго контура реактора. Под высоким давлением «бочки» дают течь, уровень радиации резко идет вверх. Появляется аварийная команда и заваривает трубы. И так до следующего раза.

«Грязная» лодка, говорит Меркулов.

– А потом мы открываем переборки реакторного отсека, чтобы снизить в нем уровень радиации.

– Черт, – говорит адмирал. У него в глазах потрескивают миллирентгены. Васильев нервничает: – И получаете одинаковое загрязнение по всей лодке?

– Совершенно верно, – спокойно отвечает командир К-3. – Ну, на то мы и советские моряки.

43 дня до

В каютах тепло и пахнет хорошим коньяком. Стены оббиты красным деревом, иллюминаторы в латунной окантовке. Мягкий свет плафонов ложится на стол, покрытый белой скатертью, и на мощный красивый лоб Главнокомандующего ВМФ.

Главнокомандующий хмурится и говорит:

– Я сам командовал кораблем и прекрасно знаю, что ни один командир не доложит об истинном положении вещей. Если ему ставят задачу, он будет выполнять ее любыми правдами и неправдами. Поэтому ты, Меркулов, молчи! О готовности лодки послушаем твоих офицеров.

А что их слушать, думает командир К-3, капреранг Меркулов. Мы тоже не дураки. На полюс идти надо, так что – пойдем. Лодку к походу готова. А говорить о неисправностях – только лишний раз подставляться… Выйдешь в море на нервах, да еще и ни черта не сделав.

Меркулов выслушивает доклады своих офицеров – на диво оптимистичные. Лодка готова, готова, готова.

Главнокомандующий расцветает на глазах. Как розовый куст в свежем навозе.

15 дней до

В надводном положении лодка напоминает серого кита: шкура пятнистая от инея, морда уродливая, характер скверный. Чтобы волнением не болтало, лодка принайтована тросами. Вокруг лодки – суровая северная весна: лед, ветер и черная гладь воды.

На китовой шкуре суетятся мелкие паразиты. Один из паразитов, тот, что повыше, вдруг открывает рот и поет, выпуская клубы пара:

До встречи с тобою, под сенью заката
Был парень я просто ого-онь.
Ты только одна-а, одна виновата,
Что вдруг загрустила гармо-онь.

У паразита – сильный наполненный баритон. С видимым удовольствием он повторяет припев:

Ты только одна-а, одна виновата,
Что вдруг загрустила гармонь.

– Кто это? – спрашивает Меркулов. Они со старпомом стоят на пирсе, наблюдают за погрузкой и курят. Бледный дым, неотличимый от пара, улетает в серое небо.

– Не знаю, – говорит кап-два Осташко. – Эй, Григорьев! – Старшина оборачивается. – Кто это поет, не знаешь?

Григорьев знает, но отвечать сразу – отдавать по дешевке. Младший командный состав должен знать себе цену. Поэтому старшина прикладывает руку к глазам, долго смотрит (но не так долго, чтобы командир устал ждать), потом изрекает:

– А, понятно. Это каплей Забирка, из прикомандированных. Он вообще худущий, соплей пересибить можно, но голосяра – во! Ну, вы сами слышали, товарищ капитан...

И продолжают слышать, кстати.

Весенние ветры умчались куда-то,
Но ты не спеши, подожди,
Ты только одна...

– Спасибо, старшина. Можете идти.

– Есть.

Они выпускают дым, снова затягиваются.

– Что-то «пассажиров» мало, – говорит командир задумчиво. – Всего один остался. Куда остальные делись, интересно?

– Саша, так тебя это радовать должно! – не выдерживает старпом. Он знает, как Меркулов относится к штабным бездельникам, которые идут в поход за орденами и званиями. Обычно таких бывает до десятка. Они первые у котла, у «козла», и у трапа на выход при всплытии. Остальное время «пассажиры» дохнут со скуки и режутся в карты.

– Должно, а не радует, – говорит Меркулов. – Пассажиры, Пац, – они как крысы, у них чутье звериное. Значит, в опасное дело идем. Или какая-то херня в море случится. Тыфу-тыфу-тыфу, конечно. Так что, Паша, будь другом – проверь все сам до последнего винтика. Что-то у меня на душе неспокойно.

– Сделаем, командир.

Еще одна затяжка.

– Товарищ капитан, смотрите! – вдруг кричит Григорьев издалека и на что-то показывает. Командир со старпомом поворачиваются. Сперва ничего не понимают. Потом видят, как по дорожке к пирсу, торопясь и оскальзываясь, спускается офицер в черной флотской шинели. В свете дня его обшлага отсвечивают тусклым золотом. Что-то в офицере есть очень знакомое – и не очень приятное.

– Это Дикий Адмирал, – узнает старпом наконец.

Пауза.

– Накаркали, – говорит Меркулов с досадой и сплевывает.

14 дней до

«Дикому» адмиралу никто особо не рад. Он это чувствует и начинает злиться. А когда начальство злится, оно ищет повод придраться, наорать, наказать и тем самым утвердить собственное эго.

– Что это было? – спрашивает Васильев мягко и зловеще.

Но, в общем-то, не на того нарвался. Командир электромеханической боевой части инженер-капитан второго ранга Волынцев Борис Подымович. Заменить его некем, поэтому «механик» откровенно наглеет:

– Внеплановая дифферентовка, товарищ адмирал.

Врет в глаза, сукин кот, думает Меркулов, но молчит. Сзади раздаются смешки, которые тут же стихают. Вообще-то, механик на самом деле дал маху, но адмиралу об этом знать не обязательно. Подумаешь, задрали корму и накренили лодку вправо. Внеплановая дифферентовка и пошел ты нафиг.

Васильев молчит. Этот раунд он проиграл.

Адмирал ищет, на ком бы еще сорвать злость. На глаза ему попадается вахтенный журнал, Васильев листает его в раздражении.

– Почему в вахтенном журнале бардак?! – спрашивает он наконец. – Старший помощник, это что, боевой корабль или богадельня?!

Офицеры лодки переглядываются.

– Бордель, товарищ адмирал! – отвечает старпом.

Старпому нельзя терять лицо перед экипажем. Поэтому он начинает дерзить.

– Так, – говорит Васильев зловеще.

К несчастью, кап-два Осташко забыл, что незаменимых старпомов не бывает. Сместить «механика» адмирал не может, потому что некому будет управлять механизмами и погружением, старпом же – другое дело.

Следует мгновенная и жестокая расправа.

– Записать в вахтенный журнал! – командует адмирал. – Приказываю отстранить старшего помощника Осташко от исполнения служебных обязанностей. – Адмирал очень хочет добавить «отстранить на хрен», но такое обычно не заносят в официальные документы. – Принимаю его пост на себя. Руководитель похода адмирал флота Васильев... Дай, подпишу.

Неуязвимый «механик» хмыкает. Васильев смотрит на него в упор, но ничего не говорит. Сейчас адмирал напоминает хищника моря, огромную белую акулу с кровью на челюстях.

С хрустом перекусенный, старпом бьется в судорогах; потом, бледный как наволочка, уползает в угол и садится. Руки у него дрожат. Это, скорее всего, конвульсии умирающего. А ведь был хороший моряк, думает Меркулов с сожалением.

Потом открывает рот – неожиданно для себя.

– Товарищ адмирал, разрешите вопрос. Зачем нам ядерные торпеды?

13 дней до

Считается, что спиртное – лучшая защита от радиации. Поэтому лодка несет громадный запас красного сухого вина. К «саперави» прилагаются апельсины, ярко-оранжевые, как новый год в детском саду. На человека в день положено сто грамм – это немного. Поэтому офицеры скидываются и организуют «черную» кассу – и на эти деньги забивают холодильник в офицерской каюте-компании. Чтобы водка была; и была холодная.

Меркулов смотрит на «Саранск» долгим взглядом. Потом пересиливает себя и идет в центральный. Там его уже ожидает радиостанция.

– Получена радиограмма, товарищ командир. От главного энергетика проекта Шаталова.

– И что? – говорит Меркулов.

– «Ознакомившись с техническим состоянием К-3, категорически требую запретить выход лодки в море». Подпись, дата.

Меркулов усмехается.

– Поздно. Уже вышли, – Поворачивается к старшому, понижает голос. – Вот оно: высокое искусство прикрывать задницу – учись, Паша.

Через полчаса радиостанция опять докладывает:

– Радиограмма из штаба флота. Товарищ командир, «Наутилус» вышел в море. По данным разведки: американцы готовились в дальний поход. Возможно, целью является...

Твою мать, думает Меркулов.

– Полюс? Они вроде там уже были?

– Так точно: полюс, – говорит радиостанция. – Нам приказано: идти в боевой готовности, на провокации не поддаваться. В случае контакта с американцами действовать по обстановке. Подпись: Главком ВМФ, дата: сегодня.

Меркулов поворачивается и смотрит на Васильева. Тот нисколько не удивлен.

По обстановке значит, думает Меркулов. Что-то ты уж больно спокоен, адмирал. С нашими-то тремя торпедами.

Две обычных Т-5 с атомными зарядами.

И одна Т-15, чудовищная штука в 27 метров длиной, с водородной бомбой в четыреста килотонн. Эта штука проходит через три отсека и упирается в центральный пост. По замыслу конструкторов, такой торпедой можно поразить крупный военно-морской порт противника.

По данным разведки флота, таких портов во всем мире – два. Два! И не один не имеет стратегического значения.

Тем не менее, сейчас подлодка идет к полюсу с полным ядерным боезапасом. И туда же идет штатовский «Наутилус».

Забавно, думает капитан.

5 дней до

За бортом – белое крошево; черная вода, в которой плавают куски пенопласта. Это паковый лед. Полянья напоминает суповую тарелку с широкими выщербленными краями. Григорьев ежится – ему даже смотреть на это зябко. Старшину перевели в экипаж с Черноморского флота, поэтому на севере он банально мерзнет. Хотя и родом с Урала.

Морозный воздух обжигает легкие.

Рядом стоит капитан-лейтенант Забирка – фамилия смешная, да и сам тоже, но парень хороший. И совсем не похож на «пассажира». Ребятам Забирка нравится.

Открыли люки, чтобы проветрить внутренние отсеки. Тёплый радиоактивный воздух поднимается вверх; вокруг лодки клубится белый туман.

Из дверей рубки, в облаке пара возникает Дикий Адмирал. Васильев нарочито медлит, хотя старшина видит, как в его глазах щелкают миллирентгены. Старшина вспоминает шутку времен начала службы. «А свинцовые трусы ты себе уже купил?» Некоторые ломались. Интересно, Васильев бы сломался? Адмирал отчаянно боится радиации – но пока держится и даже пьет не больше других.

Забирка сдвигается; адмирал встает к ограждению, резко вдыхает, жадно оглядывается, словно пытается надышаться чистым, без альфа и бета-частиц, воздухом на год вперед. Ну, по крайней мере, до следующей полыни.

Налетает ветер и сносит туман в сторону. К-3 покачивается под порывами.

Васильев рефлекторно вцепляется в леер.

Волнение слабое, но лодку бултыкает в полынье, как дермо в проруби.

– И якоря у нас тоже нет, – говорит Меркулов за спиной адмирала, и исчезает в люке, прежде чем тот успевает ответить. Васильев скрипит зубами и беззвучно матерится. За последние дни отношения между проверяющим из штаба и командиром К-3 испортились окончательно. Старшина делает вид, что ничего не заметил.

Из-за туч выныривает солнце и освещает все, как прожектором.

3 дня до

– Акустик, пассивный режим.

– Есть пассивный режим.

Командир часами лежит на полу, смотрит в перископ. Он выдвинут едва-едва, чтобы не задеть ледовый пласт, поэтому окуляр находится у самого пола. Меркулов ищет просвет для всплытия. Потом его сменяет старпом, каперанг выпрямляется, хрустит суставами, идет курить. Адмирал появляется в центральном посту все реже. Отсиживается в кормовом отсеке. Кто-то сказал Васильеву, что там радиация полегче. В принципе, это правда – кормовой отсек дальше всего от реакторного.

– Ну что?

– Ничего, товарищ капитан.

Море безмолвствует. Конечно, море полно звуков, это любой акустик скажет – но нет звука чужих винтов. А это самое главное. Старпом перебрасывается фразами с заместителем.

– Теоретически, им нас не догнать, – говорит заместитель об американцах.

– А практически?

– А практически мы их не услышим.

– Шумы, – говорит акустик. – Слышу...

– Что? – выпрямляется старпом. – Что слышишь?

Лицо акустика в напряжении. На лбу выступает капля пота, бежит вниз.

– Блин, – говорит вдруг акустик. – Простите, товарищ капитан. Будто дышит кто.

– Что еще? – старпом отбирает наушники, вслушивается в море. Сперва ничего не разбирает, кроме гула и отдаленного шума винтов – это собственный шум К-3. Потом слышит далекий смех. Потом – глубокий мужской голос на фоне гула океана.

Весенние ветры умчались куда-то,
Но ты не спеши, подожди-и,
Ты только одна-а, одна виновата,
Что так неспокойно в груди-и.

— Блин, — говорит старпом. Потом командует: — Отставить песню! Дайте мне радио.
— Не надо.

Старпом оборачивается и видит Меркулова, который уже покурил, поел, выспался, и успел побриться. Подбородок капрранга сияет чистотой. Старпом мимоходом завидует свежести командира, потом смотрит вопросительно.

— Хорошая песня, — поясняет Меркулов. — Хорошо поет. Акустик, активный режим.

— Есть активный. — акустик включает гидролокатор. Слышен тонкий импульс сигнала. Меркулов открывает люк в переборке, то же самое делают в остальных отсеках. Теперь голос слышен без всяких наушников.

Ты только одна-а, одна виновата,
Что так неспокойно в груди-и.

2 дня до

На краю суповой тарелки лежит, вмороженная в лед, огромная атлантическая селедка, густо посыпанная крупной белой солью.

— Блин, — говорит старпом. Похоже, словечко привязалось.

Характерная форма рубки и леерных ограждений. До боли знакомые обводы легкого корпуса. Такие очень... очень американские.

— «Наутилус», — говорит Меркулов, сам себе не веря. — Что б меня, это же «Наутилус»!

Прибегает мичман-дозиметрист и докладывает:

— Фонит, товарищ командир. Почти как в активной зоне. Может, у них реактор вразнос пошел? Они, наверное, вспыли побыстро, их как пробку выбросило — и на лед!

Глаза у мичмана покрасневшие и гноятся. От радиации у половины экипажа — конъюктивит и экзема. Несколько человек на грани слепоты. Грязная лодка, очень грязная, думает капрранг. Хотя у американцев дела не лучше. У них дела, если честно, совсем плохи.

— Как лодка называется? Опознали?

— Нет, товарищ командир. Там только бортовой номер: пять-семь-один.

Номер «Наутилуса». Значит, я не ошибся, думает капрранг. Но что, черт возьми, тогда с ними случилось?

— Сменить одежду, — приказывает Меркулов. — В лодку не заходить, вам сюда принесут — ничего, не замерзните. Потом отогреетесь. Личные дозиметры — на проверку. Молодцы, ребята. И получить двойную порцию водки. Все, бегом.

— Есть!

Появляется Васильев. С минуту смотрит на тушу американской лодки, потом протирает глаза. У него зрение тоже садится — или адмирал очень удивлен.

Или все разом.

— Блин, — говорит Дикий Адмирал. В этом Меркулов с ним солидарен. — Нашли кого-нибудь?

— Еще нет. Пока не искали. Старпом!

Осташко о чем-то беседует с комиссаром лодки. В этот раз К-3 поставили вплотную к кромке льда и опустили носовые рули глубины — как трапы. Несколько матросов выглядят на белом фоне, словно вороны на снегу.

— Старпом! — повышает голос Меркулов. Осташко оборачивается. — Паша, возьми людей, возьми автоматы из оружейки. Осмотритесь здесь вокруг. К «Наутилусу» не лезть. Давай, может, кого найдете. Только дозу не забудь измерить. Ну, с богом.

— Понял, — отвечает старпом.

Меркулов поворачивается к Васильеву.

— На твоем месте, — говорит адмирал тихо, — я бы приказал стрелять в любого, кого они обнаружат.

Каперанг надменно вскидывает подбородок. Взгляд его становится тяжелым, свинцовым. Слова чеканятся, как зубилом по металлу.

— Вы что-то знаете?

Адмирал поводит головой, словно воротник кителя натер ему шею.

— Дело твое, — говорит Васильев наконец. В его глазах — непрерывный треск сотен счетчиков Гейгера. — Твое, каперанг. Только не пожалей потом, ладно?

Меркулов молчит.

Ты только одна-а, одна виновата...

1 день до

— Ктулху, — говорит американец. Он уже должен был загнуться от лучевой болезни, но почему-то не загинается. Только глаза жутко слезятся; огромные язвы — лицо Рокуэлла выглядит пятнистым, как у леопарда. Еще у него выпадают волосы — но при той дозе, что схватил американец, это вообще мелочи.

— Простите? — говорит Меркулов. Он плохо знает английский, но в составе экипажа есть Константин Забирка, который английский знает хорошо. Так что, в общем-то, все друг друга понимают. Кроме моментов, когда американец заводит разговор о Ктулху.

— Говард Лавкрафт, — продолжает американец. — Умер в тридцать седьмом. А мы ему не верили.

Ему самому тридцать два. Его зовут Сэм Рокуэлл. Он лейтенант военно-морского флота США. Еще он совершенно лысый и слепой от радиации.

Близко подойти к «Наутилусу» Меркулов не разрешил. Дорого бы он дал за вахтенный журнал американцев, но... Но. Рассмотрели лодку со всех сторон из биноклей. На правом борту, рядом с рубкой, обнаружились странные повреждения — словно кто-то вырвал кусок легкого корпуса и повредил прочный. Пробоина. Видимо, столкновение? Или удар?

— Да, да, — говорит американец. — Мы закрыли отсек. Потом полный ход. Искали, где подняться наверх. Да, да.

— У вас есть на борту ядерное оружие? — спрашивает Меркулов. — Переведи ему. Забирка переводит — странно слышать чужие слова, когда их произносит этот глубокий красивый голос.

Американец молчит, смотрит на капрранга. Через желтоватую кожу лица просвечивает кость.

— Дайте ему водки. И повторите вопрос.

— Да, — говорит Рокуэлл, лейтенант военно-морского флота США. — Мы собирались убить Ктулху. Вы слышали про операцию «Высокий прыжок»? Сорок седьмой год, адмирал Ричард Берд. С этого все началось...

12 часов до

Ростом с гору. Так написал Лавкрафт. Еще он описывает, как люди с повышенной чувствительностью — люди искусства, художники, поэты — видели во снах некое чудовище и сходили с ума. От таких снов можно чокнуться, мысленно соглашается Меркулов, вспоминая огромный, затянутый туманом город, от которого словно веяло потаенным ужасом. Невероятные, циклопические сооружения, сочащиеся зеленой слизью. И тени, бродящие где-то там, за туманом — угадываются их нечеловеческая природа и гигантские размеры. Ростом Ктулху «многие мили». Капитан автоматически пересчитывает морскую милю в километры и думает: очень высокий. Охрененно высокий.

Долбанутые американцы. Не было печали.

Меркулов с облегчением выглатывает водку и зажевывает апельсином. Желудок обжигает — водка ледяная. Потом капрранг убирает бутылку в холодильник, идет бриться и чистить зубы. Командир на лодке должен быть богом, не меньше — а от богов не пахнет перегаром.

— Слыши «трещотку», — говорит акустик. — Какой-то странный рисунок, товариш командир.

Меркулов прикладывает наушники, слушает. На фоне непрерывного скрежета, треска и гула — далекий гипнотический ритм: тум-ту-ту-тум, ту-ду. И снова: тум-ту-ту-тум, ту-ду. Мало похоже на звуковой маяк, который выставляют полярники для подводных лодок. К тому же, насколько помнит капрранг, в этом районе никаких советских станций нет.

— Это не наши.

— Это мои, — говорит Васильев хриплым надсаженным голосом. Дикий Адмирал уже второй день пьет по-черному, поэтому выглядит как дермо. — То есть, наши.

Но дермо, которое зачем-то выбрилось до синевы, оттюжились и тщательно, волосок к волоску, причесалось. От Васильева волнами распространяется холодноватый запах хорошего одеколона. Интересно, на кой черт ему это нужно? — думает командир К-3 про попытку адмирала выглядеть в форме.

— Что это значит? — Меркулов смотрит на адмирала.

— Это значит: дошли, капрранг. «Трещотка» обозначает нашу цель.

Цель? У командира К-3 от бешенства сводит скулы.

— У меня приказ дойти до полюса, — голос звучит будто со стороны.

Адмирал улыбается. Это слашавая похмельная улыбка — Меркулову хочется врезать по ней, чтобы превратить улыбку в щербатый окровавленный оскал. В этот момент он

ненавидит адмирала так, как никогда до этого.

Это *мой* экипаж, думает Меркулов. *Моя* лодка.

– На хрен полюс, – говорит Васильев добродушно. – У тебя, капрранг, другая задача.

8 часов до

Подводный ядерный взрыв, прикидывает Меркулов.

Надо уйти от гидроудара. Сложность в том, что у К-3 только носовые торпедные аппараты. После выстрела мы получим аварийный дифферент; то есть, попросту говоря, масса воды в несколько тонн хлынет внутрь лодки, заполняя место, которое раньше занимала торпеда-гигант. Лодка встанет на попа. Придется срочно продувать носовые балластные цистерны, чтобы выровнять ее. Если чуть ошибемся, К-3 может выскочить на поверхность, как поплавок. А там лед. Вот будет весело. Даже если все пройдет благополучно и мы выровняем лодку вовремя, то еще нужно набрать ход, развернуться и уходить на полной скорости от ударной волны, вызванной подводным ядерным взрывом.

А там четыреста килотонн, думает Меркулов. Охрененная глубинная бомба.

– Акустик, слышишь «трещотку»? Дай точный пеленг.

Акустик дает пеленг. Мичман-расчетчик вносит данные в «Торий». Это новейший вычислитель. Прибор гудит и щелкает, старательно переваривая цифры и цифры. Лодка в это время меняет курс, чтобы дать новые пеленги на цели – их тоже внесут в «Торий». Координаты цели, координаты лодки и так далее. Подводная война – это прежде всего тригонометрия.

Цель неподвижна – поэтому штурман быстрее справляется с помощью логарифмической линейки.

– Готово, командир.

Меркулов глазами показывает: молодец.

Полная тишина. Лодка набирает скорость и выходит на позицию для стрельбы. Расчетная глубина сто метров.

Вдруг динамик оживает. Оттуда докладывают – голосом старшины Григорьева:

– Товарищ командир, греется подшипник электродвигателя главного циркуляционного насоса!

Блин, думает Меркулов. Вот и конец. Мы же подо льдом. Нам на одной турбине переться черт знает сколько. А еще этот Ктулху, Птурху... хер его знает, кто.

4 часа до

– Разрешите, товарищ капитан?

Григорьев проходит в кают-компанию, садится на корточки и достает из-под дивана нечто, завернутое в промасленную тряпку. Осторожно разворачивает, словно там чешская хрустальная ваза.

На некоторое время у кап-три Осташко пропадает дар речи. Потому что это гораздо лучше любого, даже венецианского стекла. Все золото мира не взял бы сейчас старпом вместо этого простого куска железа.

– Вот, товарищ капитан, он самый.

На ладонях у Григорьева лежит подшипник, который заменили на заводе. Запасливый старшина прибрал старую деталь и спрятал на всякий пожарный. Интересно, думает старпом, если я загляну под диван, сколько полезного там найду?

– Молодец, Григорьев, – говорит Осташко с чувством.

– Служу Советскому Союзу! – отчеканивает старшина. Затем – тоном ниже: – Разве что, товарищ капитан, одна закавыка...

– Что еще? – выпрямляется старпом.

– Мы на этом подшипнике все ходовые отмотали.

– И?

Старшина думает немного и говорит:

– А если он вылетит нахрен?

Короткая пауза.

– Тогда нахрен и будем решать, – говорит Осташко. – Все, работай.

1 час 13 минут до

– Товарищ командир, – слышится из динамика спокойный голос главного механика. – Работы закончены. Разрешите опробовать?

– Пробуй, Подымыч, – говорит командир. Не зря его экипаж дневал и ночевал на лодке все время строительства. Сложнейший ремонт выполнен в открытом море и в подводном положении. Только бы получилось! Только бы. Меркулов скрещивает пальцы.

– Нормально, командир, – докладывает динамик. – Работает как зверь.

Командир объявляет новость по всем отсекам. Слышится тихое «ура». Все, теперь ищем полынью, решает Меркулов.

22 минуты до

– Операция «Высокий прыжок» – в сорок седьмом году экспедиция адмирала Берда отправилась в Антарктиду. Целая флотилия, четырнадцать кораблей, даже авианосец был. На хера столько? – вот что интересно. С кем они воевать собирались? А еще интереснее, кто их там встретил – так, что они фактически сбежали, сломя голову. А адмирал попал в сумасшедший дом... А теперь смотри, каперанг, – говорит Васильев и пробивает апельсин отверткой насквозь. Брызжет желтый сок. Остро пахнет новым годом. – Все очень просто, – продолжает адмирал. – Вот южный полюс, об который обломал зубы адмирал Берд, вот северный – рядом с которым пропадают наши и американские лодки. Короче, на этой спице, протыкающей земной шар, как кусок сыра, кто-то устроился, словно у себя дома. Нечто чудовищное.

Образ земного шара, проткнутого отверткой, отнюдь не внушает Меркулову оптимизма.

– За последние шесть лет пропало без вести восемь наших лодок, одна норвежская и три американских, – говорит адмирал. Он успел навестить холодильник, поэтому дикция у него смазанная. – Все в районе севернее семидесятой широты. Полярные воды. – Васильев замолкает, потом натужно откашливается. От него несет перегаром и чем-то застарело

кислым. – Недавно мы нашли и подняли со дна С-18, исчезнувшую пять лет назад. Там... тебе интересно, капреранг?

– Да, – говорит Меркулов.

Васильев, преодолевая алкоголь в крови, рассказывает капрерангу, что было там. Его слушает весь центральный пост. Тишина мертвая.

Лодка сейчас на поверхности – они вернулись в ту же полынью, в которой всплывали днем раньше. Последняя проверка перед боем.

– У них лица живые, – заканчивает рассказ адмирал. Командир К-3 молчит и думает. С-18 получила повреждения, когда была на ходу в подводном положении. «Наутилус», по словам американца, заходил в атаку. Потом... что было потом?

Меркулов поворачивается к старпому.

– Ну-ка, Паша, тащи сюда американца.

17 минут до

– Уэл, – говорит американец тихо. Он сильно ослабел за последние часы.

– Хорошо, – переводит Забирка сильным красивым баритоном.

– Что ж, спасибо, лейтенант Рокуэлл. Спасибо. Все по местам! – Меркулов встает и поправляет обшлага на рукавах. В бой положено идти при параде. – Посмотрим, выдержит ли их империалистический Ктулху попадание советской ядерной торпеды.

Старпом и штурман дружно усмехаются.

– Нет, – говорит вдруг каплей Забирка. – Ничего не получится.

Сначала Меркулов думает, что это сказал американец, а Забирка просто перевел своим звучным голосом. Поэтому капреранг смотрит на Рокуэлла – но губы американца неподвижны, лицо выражает удивление. Потом командир К-3 видит, как Забирка делает шаг к матросу-охраннику, и, глядя тому в глаза, берется за ствол «калаша». Рывок. Ничего не понимающий матрос тянет автомат на себя – и получает мгновенный удар в горло. Х-харх! Матрос падает.

Забирка поворачивается, оскалив зубы.

Худой, страшный. На левом глазу – белая пленка катараекты.

В жилистых руках, торчащих из черных рукавов, автомат кажется нелепым. Дурацкий розыгрыш, думает Меркулов. Как подводник, он настолько отвык от вида ручного оружия, что даже не верит, что эта штука может убивать.

Забирка улыбается. В этой улыбке есть что-то неправильное – капреранг не может понять, что именно, но ему становится не по себе. Движется Забирка очень мягко, по звериному.

Кап-три Осташко кидается ему наперерез.

Судя по звуку – кто-то с размаху вбивает в железную бочку несколько гвоздей подряд. Оглушенный, ослепленный вспышками, Меркулов щурится.

Старпом медленно, как во сне, заваливается набок.

Все сдвигается. Кто-то куда-то бежит. Топот. Ругань, Крики. Выстрелы. Один гвоздь вбили, второй.

– Паша! – Меркулов опускается на колени перед другом. – Что же ты, Паша...

Лицо у кап-три Осташко спокойное и немного удивленное. В груди – аккуратные

13 минут до

— Водолазов ко мне! — приказывает Меркулов резко. Потом вспоминает: — Стоп, отставить.

Водолазы бесполезны. В обычной лодке их бы выпустили наверх через торпедные аппараты — но здесь, в К-3, аппараты заряжены уже на базе. Конечно, можно было бы выстрелить одну торпеду в никуда. Но не с ядерной же боеголовкой!

Гром выстрела.

Пуля с визгом ricochetit по узкой трубе, ведущей в рубку. Все, кто в центральном посту, невольно пригибаются. Затем — грохот, словно по жестяному водостоку спустили металлическую гайку.

Матрос ссыпается вниз, держа автомат одной рукой. На левой щеке у него длинная кровавая царапина.

— Засел в рубке, сука, — докладывает матрос. — И в упор, гад, садит. Не пройти, тариш командир. С этой дурой там не развернешься. — показывает на «калаш». Потом матрос просит: — Дайте мне пистолет, товарищ комиссар, а? Я попробую его снять.

Комиссар лодки делает шаг вперед, расстегивая кобуру.

— У меня граната! — слышится голос сверху. Сильный и такой глубокий, что проходит через отсеки почти без искажений — только набирая по пути темную грохочущую мощь.

— Отставить! — приказывает Меркулов. Обводит взглядом всех, кто сейчас в центральном. Ситуация аховая. Сумасшедший Забирка (сумасшедший ли? диверсант?) держит под прицелом рубочный люк. Кто сунется, получит пулю в лоб. Скомандовать погружение, и пускай этот псих плывет в ледяной воде, думает командир К-3. Эх, было бы здорово. Но нельзя, вот в чем проблема.

Не задраив люк, погрузиться невозможно, потому что затопит центральный пост. В итоге, понимает Меркулов, мы имеем следующее: один безумец держит в заложниках атомную лодку, гордость советского Военно-морского флота, и сто человек отборного экипажа. А еще у него есть «калаш», два рожка патронов и граната, которую он может в любой момент спустить в центральный отсек. Особенно забавно это смотрится на фоне надвигающегося из подводной темноты американского Ктулху.

— Гребаный Ктулху, — произносит Меркулов вслух.

— Аварийный люк, товарищ командир! — вскакивает матрос с автоматом. Громким шепотом: — Разрешите!

Секунду капитан медлит.

— Молодец, матрос, — говорит Меркулов. — За мной!

4 минуты до

Восьмой отсек — жилой. Здесь как раз лежит на койке старшина Григорьев, когда раздаются выстрелы. Теперь матросы и старшины, собиравшиеся отдохнуть, с тревогой ждут, что будет дальше. Руки у старшины замотаны тряпками — раскаленные трубы парогенератора

находились очень близко, ремонтники постоянно обжигались.

Но ничего. Лишь бы разобраться с выстрелами.

Появляется командир лодки с пятью матросами. Все с автоматами, у Меркулова в руке пистолет. За ними в отсек вваливается адмирал Васильев – с запахом перегара наперевес, мощным, как ручной гранатомет.

– Раздрайвай, – приказывает Меркулов.

Аварийный люк не поддается. Несмотря на ожоги, Григорьев лезет вперед и помогает. Механизмы старшину любят – поэтому люк вздыхает, скрежещет и наконец сдается. В затхлый кондиционированный воздух отсека врывается холодная струя.

Один из матросов отстраняет Григорьева, лезет наружу, держа автомат наготове. Тут же ныряет обратно, выдыхает пар. Звучит короткая очередь – пули взвизгивают о металл корпуса.

Матросы ссыпаются вниз с руганью и грохотом.

Григорьев падает. Поворачивает голову и видит адмирала флота Васильева. У того лицо белое, как простыня.

– Я же предупреждал! – раздается знакомый голос. Звяк!

В следующее мгновение граненая металлическая шишка выпадывает из люка сверху. Стукается об пол, отскакивает со звоном; катится, подпрыгивая и виляя, и останавливается перед Григорьевым прямо на расстоянии вытянутой руки.

Еще через мгновение старшина ложится на гранату животом.

Момент 0

Один, считает старшина.

В следующее мгновение боль ломиком расхреначивает ему ребра – почему-то с левой стороны. Еще через мгновение Григорьев понимает, что его пинают подкованным флотским ботинком.

– Слезь с гранаты, придурок! – орут сверху.

Еще через мгновение семьдесят килограмм старшины оказываются в воздухе и врезаются в стену. Каждый сантиметр занят краниками и трубами, поэтому Григорьеву больно. Старшина падает вниз и кричит.

Пол снова вздрагивает. Только уже гораздо сильнее. Старшина открывает глаза – над ним склонился каперанг Меркулов с гранатой в руке. Кольцо в гранате, думает Григорьев, ах я, дурак.

Через открытый аварийный люк восьмого отсека льется дневной свет. Становится холодно.

– Ктулху фхтагн, – слышит старшина сверху. И не верит своим ушам. Ему невероятно знаком этот сильный красивый баритон – глубокий, как дно океана. Только в этом голосе сейчас звучит нечто звериное, темное. Этот голос пугает, словно говорит сама глубина.

– Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн. Но однажды он проснется...

Автоматная очередь. Крики.

– Ктулху зовет, – изрекает капитан-лейтенант Забирка. Его не видно, но голос разносится по всем отсекам. У Забирки автомат и гранаты, но он забыл, что нужно выдернуть кольцо. Капитан-лейтенант стремительно превращается в первобытное существо.

Адмирал Васильев встает на ноги и говорит Меркулову:

– Теперь ты понял, для чего нам ядерные торпеды?

Каперанг кивает. Потом выдергивает чеку, размахивается и кидает гранату через люк вверх, как камешек в небо.

– Ложись, – говорит командир К-3. – Три. – Меркулов падает, закрывая голову руками.

Два, считает старшина. В ту же секунду пол вздрагивает и слышен потусторонний жуткий скрежет.

Один, думает старшина.

Пять секунд после

По лодке словно долбанули погрузочным краном. От взрыва гранаты лодку прибивает к краю полыни – скрежет становится невыносимым. Матросы зажимают уши. Каперанг вскакивает, делая знак матросам – вперед, наверх! Если этот псих еще жив – его нужно добить. Поднимает пистолет. «Черт, что тут нужно было отщелкнуть?! А, предохранитель...»

Вдруг динамик оживает:

– Товарищ командир, рубочный люк задраен!

Сперва Меркулов не понимает. Потом думает, что это хитрость. Забирка каким-то образом пробрался в центральный и захватил лодку.

– Кто говорит?

– Говорит капитан-инженер Волынцев. Повторяю: рубочный люк задраен.

– Очень хорошо, центральный, – каперанг приходит в себя. – Всем по местам! – командует Меркулов. – Срочное погружение!

Пробегает в центральный пост. Там лежат два тела в черной форме: сердце колет ледяной иглой, Паша, что же ты... А кто второй?

Посреди поста стоит «механик» Волынцев с рукой на перевязи. Лицо у него странное, на лбу – огромный синяк.

Вторым лежит Рокуэлл, лейтенант Военно-Морского флота США, с лицом, похожим на шкуру пятнистого леопарда. Глаза закрыты. На черной робе кровь не видна; только кажется, что ткань немного промокла.

– Вот ведь, американец, – рассказывает «механик». – Забрался наверх и люк закрыл. Я ему кричу: слазь, гад, куда?! Думал, убежать штатовец хочет. А он меня – ногой по морде. И лезет вверх. – Волынцев замолкает, потом говорит: – Люк закрывать полез, как оказалось. Герой, мать вашу.

Топот ног, шум циркуляционных насосов. Лодка погружается без рулей – только на балластных цистернах.

– Осмотреться в отсеках!

– И ведь закрыл, – заканчивает Волынцев тихо, словно не веря.

– Слыши, – говорит акустик. Лицо у него побелевшее, но сосредоточенное. – Цель движется. Даю пеленг...

– Боевая тревога, – приказывает Меркулов спокойно. – Приготовиться к торпедной атаке. Второй торпедный аппарат – к бою.

Ладно, посмотрим, кто кого, думает каперанг. «Многие мили» ростом? Что же, на то мы и советские моряки...

В колхозном поселке, в большом и богатом,
Есть много хороших девча-ат,
Ты только одна-а, одна виновата,
Что я до сих пор не жена-ат.

Ты только одна-а-а, одна виновата,
Что я до сих пор не жена-ат.

Комсомольская сказка

Кривой острый нож пластинает белые кирпичи, похожие на пенопласт. Вжик, вжик, вжик. Быстрый, как крылья скользящих над водой буревестников. Кюхюль обрезает углы, подравнивает, чтобы снеговой кирпич плотнее встал на место. Построить дом из снега не так-то просто. Все делается на глаз. Тут главное, чтобы угол наклона крыши был правильный. Тогда иглу будет держаться без всякой опоры, только за счет собственной тяжести.

Старик Кюхюль их проводник и надежда. Кюхюль умеет делать дома из снега.

Сапунцов кивает и говорит "хорошо". Следующий кирпич ложится в стену. Острие ножа скользит в щели под ним, подравнивая, подрезая, укладывая точнее. Через пару часов стыки между кирпичами замерзнут, и кладка будет держаться, как единое целое. При желании, на крыше готового иглу можно даже стоять.

Сапунцов уходит от строящегося дома. У него время передачи. Он достает передатчик, антenna уже выведена, он задает волну. Берется за ключ рукой в толстой рукавице и начинает отстукивать текст. Он зашифрован. Следующая страница шифровальной книги: за 12 мая 1959 года.

Сапунцов отстукивает:

"Крачка – Гнезду. Объект не подает признаков жизни".

Он выключает питание, потом заворачивает передатчик в толстый мех. Температура сегодня за сорок, еще чуть-чуть и металл начнет разваливаться под пальцами. Батареи садятся в мороз только так. Самое странное, что молчит лодка. Они уже должны были найти полынью и всплыть для передачи сообщения.

Если они живы.

Сапунцов закрывает глаза. Даже с закрытыми глазами он знает, что вокруг. Белая беспроблемная пустыня. Холод и лед. Заунывный вой ветра. Белые медведи, у которых нельзя есть печень – отравишься. Все остальное можно (его учили инструкторы по выживанию), а печень нельзя. Печень белого медведя почему-то видится Сапунцову большой и жирной, и почему-то насыщенного синего цвета. Как отравленная.

Через короткое время он открывает глаза. Кюхюль уже подготовил дом, из белого полушария иглу, от самой макушки отваливается клубами белый дым. Вернее, это скорее пар.

Сапунцов опускает на глаза картонные очки с узкими горизонтальными щелями. Это чтобы не ослепнуть от блеска льда и снега.

Пар вырывается изо рта. Сапунцов идет добывать питьевую воду. В Арктике это целая проблема. Хотя, казалось бы, вокруг один снег. Бери, не хочу. Но куда там. Приходится выдалбливать в твердом, как алмаз, льду особые углубления – для системы фильтрации. В первую ямку кладешь немного веток и мха, поджигаешь. Вода оттуда течет густо-коричневая. А дальше, перетекая из одной ямки в другую, проходя сквозь фильтры из снега, все светлеет и светлеет, пока, наконец, в последней не оказывается чистая и вкусная.

Он зачерпывает воду алюминиевой кружкой, пьет, аккуратно прижимая металл к губам.

Губы растрескались, но хорошенко смазаны тюленым жиром (воняет). Все-таки правильно, что мы взяли с собой юпика Кюхюля. Дед полезней, чем два ящика со спецснаряжением.

Кстати, где он?

Сапунцов идет (брови у него – два белых айсберга) к снежному дому и видит лаз внутрь. Кюхюль, похоже, уже развел огонь. Внутри тепло. Лаз должен быть ниже уровня пола, чтобы угар уходил вниз, а кислород приходил сверху, через отверстие для дыма.

Сапунцов опускается на колени и ловко залезает внутрь. Дед развел костер и сидит, держит руки над пламенем. Отсветы пляшут на его коричневом морщинистом лице. Кюхюля нашел Васнецов возле Нарьян-Мара, когда собирали группу. И вот Васнецова уже нет, Филатов погиб, Рябенко оставлен с обморожениями на СП-6, а старику хоть бы хны. Он самого Ктулху переживет. Сапунцов садится у огня на корточки и тянет руки. Его загорелые, но бледные в полумраке снежного дома кисти рядом с черными морщинистыми руками Кюхюля кажутся призрачными. Меня здесь нет, думает Сапунцов. Вот он, рядом, "настоящий человек" Кюхюль, как переводится с их языка слово "юпик".

Повесть о настоящем человеке, думает Сапунцов.

Который прополз десятки километров, чтобы ему отрезали обе ноги.

Кюхюль кивает Сапунцову и говорит что-то. Сапунцов уже месяц с ним вместе, но так и не привык – русского Кюхюль не знает, общаться с юпиком можно только жестами. Все хорошо, говорит Сапунцов. Есть хочешь, спрашивает Кюхюль. Да, отвечает Сапунцов. Кюхюль кивает и начинает строгать ледяную рыбу. Он срезает ножом бело-розовые стружки и передает Ивану. Одну ему, другую себе в рот. Юпик задумчиво жует. Сапунцов задумчиво жует.

Васнецов погиб в самом начале похода, еще до прихода на СП-4. Хороший был мужик. Настоящий. Сапунцов по привычке запускает пальцы в бороду – отрастил ее за два месяца. Где тут бриться, не до бритья. Васнецов выглядел как истинный полярник. Вот примерно как Отто Юльевич Шмидт на фото в "Огоньке" – борода, усы, толстый свитер крупной вязки с горловиной. Васнецов был похож на него, только погиб глупо.

А смерть вообще нелепая штука, думает Сапунцов, разжевывая замороженную стружку. Когда она оттаивает на языке, вкус ледяно-пресный, только слегка напоминающий рыбный. Сок нужно высосать и затем проглотить остальное.

Васнецов провалился в трещину во льдах. Глупо.

Но то, что он умирал два дня, еще глупее. Сапунцов вдруг вспомнил… нет, не лицо – лица он не может вспомнить… белое пятно на месте физиономии Васнецова. Группа тридцать, особое задание партии. Комсомольцы-добровольцы…

Зачем все это? Впрочем, он знает, зачем. Поэтому они с Кюхюлем доедают кусок рыбы, ставят чайник на огонь, а когда вода закипает, бросают туда листья брусники (запах взлетает клубом пара вверх и к потолку), замороженную клюкву и еловые иголки. Отвар странный на вкус, вяжущий, но полезный. Главное, чтобы не было цинги.

Ну, и войны тоже.

Кюхюль не говорит по-русски, поэтому после чая они садятся и рассказывают друг другу истории. Иногда Сапунцову кажется, что где-то в затылке он чувствует понимание того, что рассказывает старик. Иван думает, что это истории про китов и тюленей, северных богов и смазанных жиром великанов, про похищенных красавиц и отважных воинов-юпиков. Тут уже неважно, понимаешь слова или нет. Тут важна сама история. Кит, рисует Кюхюль на снегу пальцем. Сапунцов прикрывает глаза и сквозь дрему слушает, как кит превратился в человека и похитил жену одного охотника. Охотник пришел забирать жену на остров, где кит жил, но сила его была ничто против силы кита. Тогда он с женой пустился на хитрость. Она (женщины!) сказала киту, что хочет видеть его в настоящем облике, а когда тот превратился в

человека, воткнула ему в спину острогу. Раненый кит бросился в погоню за лодкой охотника, но не смог догнать, охотник с женой убили его и съели, оставив только кости.

Сапунцов дремлет. Во сне его совершенно не волнует жестокость сказки старика. Во сне он видит себя, сидящего на серых камнях, покрытых мхом. Неподалеку хижина кита-оборотня, похожая почему-то на заброшенный бункер. На рубку врытой в землю ржавой подводной лодки. На борту белый полустертый номер. Сапунцов-спящий встает. Вокруг клубится белый туман; слышны звуки, точно лопатой скребут по камням. Сапунцов вдруг видит под ногами кусок костяного хребта. А дальше еще кусок. Он начинает собирать из осколков скелет кита, чтобы наполнить его водой и отпустить. Собирает, собирает. Но как-то не складывается. Костей все больше... вот уже третья нога, четвертая... восьмая, девятая... Сапунцов работает все быстрее, а костей меньше не становится. Вдруг из тумана доносится жуткий рев, такой низкий, что и тромбону далеко. От него по коже мурашки и тоска.

Сапунцов опускает голову и видит, что в руках у него скелет осьминога. И он только что приделал к нему одну из очередных конечностей. Разве у осьминога бывает скелет? Не знаю, думает Сапунцов.

Вспышка.

Сапунцов просыпается, открывает глаза. Оказывается, он все еще сидит на корточках у огня. Кюхюль заканчивает рассказ. Сейчас будет финал. Старик показывает на Сапунцева – давай, мол, твоя очередь рассказывать.

Сапунцов думает: черт. А вслух:

– Наконец построили. Слушай, старик.

И начинает говорить – напевным манером, как сказывают сказки.

– Давным-давно жили два брата, – рассказывает Сапунцов. – И была у них сестра...

Он не знает эту сказку, но слово приходит за словом, и он продолжает:

– ...по имени Варвара. Красивая была девка! И умница. Даже в комсомол ее приняли сразу, первой. А братья завидовали. И вот решили они опорочить ее имя перед комсомольской организацией. Подговорили друга своего, Якова Петровича Меньшикова, подкатить к Варваре и назначить ей свидание. А взамен пообещали шапку норковую и кожаное пальто. Парень он был видный и жадный, согласился, значит. Подкатил он к Варваре, так, мол, и так, не подскажите девушка, не подскажите, красавица, как мне пройти в библиотеку имени Сталина. А не проводите ли меня, а то я, не ровен час, еще заблужусь. И сыпет и сыпет. Заговорил ей голову, вскружил, позвал гулять по столице, а затем на свидание под стенами Кремля. И вот в назначенный час явился он и начал приставать к девушке, требуя взаимности, а та ни в какую. Увидел это часовой, что стоял у мавзолея, осерчал, но сдвинуться с места не может – присяга! Глазом нельзя шевельнуть, коль на таком посту стоишь, дед. Ты слушай, слушай. Интересно, да? Я тогда еще потреплюсь. Стоит он и зубами скрипит аж на полстолицы слышно, потому что обидно ему за девушку. А ее, бедную, Яшка уже раздевать начал, срывает с нее одежду, радуется, бьет по белым щекам, да измывается всячески. Не выдержало сердце часового... кстати, его Семен звали, солдатский сын. И встал тогда Семен, пошел к той парочке, печатая шаг, и воткнул штык Яшке точно промеж лопаток. Пронзил и ружье на караул взял, стоит бледный. А девушка испугалась, да и убежала. А он посмотрел белыми глазами на убитого и вернулся к мавзолею, на пост, значит, как уставом положено.

На крики девушки сбежались люди, нашли мертвого Яшку. Кто убил, зачем? У самого

Кремля, на самой Красной площади, в сердце нашей родины. А потом смотрят, Семен в карауле у мавзолея стоит, глазом не шевельнет, с ружьем к ноге, и штык у него красный, в крови.

Стали Семена судить. Понятно, кто убийца. Ты зачем Яшку убил? Ничего не говорит Семен, не хочет девушку позорить. Убил, говорит, потому что было надо. А больше я вам ничего не скажу. Эх, ты, комсомолец, говорят ему. На суде отписали ему по полной – двадцать лет, потому что не просто убил, а когда на службе находился. Значит, и долг нарушил, и честь солдатскую запятнал. А перед тем сорвали с него погоны публично и значок комсомольский тоже. Потому что недостоин быть в комсомоле! Вот как судьба к Семену повернулась. Народная судья приговор зачитала. Мать Семена сидела и плакала. А он стоял, сжав зубы, и ничего не говорил. Так ничего и не сказал про ту девушку. А ее самой как не было.

Сапунцов переводит дыхание. История получается какая-то очень уж витиеватая, даже самому странно, что из него льется. Может, сны виноваты? Плохие в последнее время сны.

А дед сидит и внимательно слушает, прихлебывает отвар и смотрит на Сапунцева, словно все понимает.

Давай, показывает жестами, рассказывай.

– Ну, смотри, дед. Повезли, значит, его в тюрьму, Семена, солдатского сына. Обрили налысо, порошком от вшей посыпали, дали тюремную одежду. И пошел он срок мотать. Книжки читает, профессии разные осваивает. Плотник, маляр, стулья там сколачивает. Мать приезжает иногда, рассказывает, что дома творится. В общем, жить можно и в тюрьме.

Долго ли, коротко, проходят пять лет из двадцати. И получает Семен письмо от незнакомой девушки. Так, мол, и так, вы меня не знаете, но решила я вам написать. И завязалась между ними переписка. Сначала все про книги, фильмы, а потом и про жизнь. Рассказывала ему девушка про все, и он ей про все. И полюбилась она ему по письмам. Родной человек! Вот такая сказка. Но только не хочет прислать ему девушка своей фотографии. Как он ее не упрашивал. Семен сначала обиделся, а потом подумал – может, девушка некрасивая, своего лица стесняется, потому и фотографии не шлет. Но я ведь ее не за лицо полюбил! И решил Семен девушке написать: мне неважно, как ты выглядишь, но люблю я тебя всем сердцем. Если любишь меня тоже, то подожди, я освобожусь, и мы поженимся. Лихой парень, да, дед? Только ждать тебе долго.

Отослал письмо и ждет ответа. Проходит месяц, другой. Семен весь извелся. Конечно, думает он, кто будет ждать его еще пятнадцать лет! Девушке счастья хочется, детей.

И вдруг приходит письмо. И там одно слово.

Сапунцов смотрит на деда, в глазах у того светится понимание.

– Слушай, дед, я иногда думаю, что ты меня обманываешь. Что ты понимаешь все, до последнего слова, а?

Кюхюль смотрит на него.

– Ладно, – говорит Сапунцов. – Уговорил, языкастый. Заканчиваю.

Два месяца он ждал. И приходит Семену письмо, а там одно слово.

И это слово: да.

Обрадовался Семен, матери все рассказал. Шет платки, деревья валит, табуретки сколачивает. В тюремном хоре петь начал. Долго ли коротко, проходит еще четырнадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать семь дней. Остается Семену сидеть в тюрьме всего три дня. И вдруг приезжает мать и говорит: приходила девушка. А сама плачет. Красивая она? –

спрашивает Семен. Очень красивая, говорит мать. Только, сынок, плакала она, просила у меня прощения и прощалась она со мной и велела тебе передать: будь счастлив, не ищи меня. Вскрикнул тут Семен страшно, белый стал и упал без дыхания.

Перенесли его в тюремный госпиталь. Положили и ждут. Удивляются: ему через три дня на свободу, а он весь седой, как старик. А когда вечером оставили его в палате лежать, Семен встал, трубки из рук повыдергивал и убежал. Госпиталь – это самое неохраняемое место в тюрьме. Вот так, старик. За три дня до свободы убежал Семен, не выдержал.

И побежал он в Москву, откуда письма приходили. Нашел адрес, а там дом пустой стоит, одна старуха сидит рябая. Тебе чего, милок, надобно? Бабушка, тут девушка жила, так она моя невеста. Опоздал ты, милок. Нету больше твоей невесты.

Семен стал страшный, как мертвец.

– Что случилось?! – закричал он. Успокойся, милый, – говорит старуха. – Живая твоя невеста, замуж выходит. За кого?! За милиционера. Она не хотела, да братья ее уговорили.

Бросился тогда Семен туда, где свадьба происходила. А это был загс местный, там расписываются молодые, когда женятся. Да, тебе, старик, где уж понять. В общем, бежит он туда. По набережной бежит, по улицам. А солнце светит, вокруг жара, зелень, лето начинается, мороженое продают, эскимо, тебе бы, старик, понравилось. А у Семена в глазах черным-черно.

Прибежал он, ворвался туда, смешался с гостями (а надо сказать, что успел он себе раздобыть гражданское, прежде чем в Москву ехать), ходит среди гостей, будто тоже на свадьбу приглашен. А народу вокруг видимо-невидимо. Большая свадьба была. Генерал милицийский женится, такое вот дело.

Сапунцов поднимает глаза на старика. Кюхоль выглядит совсем не сонным и очень хитрым. Вот ведь старик, думает Сапунцов и продолжает рассказывать:

– Свадьбуправляли в саду рядом с Кремлем, Александровский называется. Видишь, большой начальник был тот милицийский генерал! Музыка играет, целый оркестр, джаз-банд, все танцуют, пьют, столы от еды ломятся. Семен идет сквозь толпу и словно ничего не замечает. И идет прямо к столу, где жених с невестой сидят.

Жених в мундире генеральском, большой, красивый, весь в золоте и медалями увенчан. А рядом – невеста в белом платье, с белой фатой, лицо закрывающей. И такая она красивая в этом белом, что у Семена голова закружилась. Идет он к столу прямиком. Как раз «горько» закричали. Невеста с женихом встают. Горько! – кричат вокруг Семена, точно воздух взрывается. Над всей Москвой-рекой, над Кремлем, над Красной площадью звучит это "горько". Семен покачнулся и вперед шагнул. И видит он, как генерал невесте фату откидывает... Закачалась земля под ногами солдатского сына. Тихо так вокруг стало, словно рыбы вокруг и только рты разеваю "гоо... кааа", а сказать ничего не могут. Смотрит Семен, а под фатой – она, та девушка, которую он много лет назад от позора спас. Варвара ее зовут. И вынул тогда Семен из рук толстяка бокал шампанского и подошел к столу. И целуются они перед ним, а он стоит, смотрит.

Раз, два, три... считают гости. И вдруг замолчали. Семен стоит, страшный, перед столом, а над его головой кружатся черные вороны, и серые воробы, и белые лебеди.

Совет да любовь, говорит Семен громким голосом.

Замерла тут девица и в лице переменилась. Смотрит на него – и горе, и радость у нее в лице смешались. А генерал ничего не понимает. А с двух сторон братья к ним бегут ее.

Семен, закричала Варвара и упала на землю без чувств.

А Семен взял шампанское, говорит генералу: "Поздравляю! Долгих лет! Счастья! Пусть хоть у нее оно будет". Выпил, и тут братья на него налетели. Он беглый преступник, кричат. Хватайте его, он из тюрьмы бежал.

На свадьбе милитонов много было, милицейская все-таки свадьба. Схватили Семена за руки, а он стоит и бежать никуда не собирается. Невесту тем временем подружки откачивают, машут платочками. Генерал поднял взгляд и говорит: "Ты кто такой?". Беглый я, отвечает Семен, глядя в глаза ему, честно и открыто. "Три дня назад из тюрьмы бежал, три дня до Москвы добирался". "А сколько ж тебе сидеть оставалось?" "Сидел я двадцать лет, а сколько оставалось... скажи мне сперва, который час?"

Генерал посмотрел на часы свои, золотые, хорошие, и говорит: "Сейчас четыре часа дня и одна минута".

"Хорошо, – отвечает Семен. – Аккурат минуту назад я бы на свободу и вышел". Удивился генерал очень. «Что же ты! – закричал. Ради чего бежал?!»

"Надо было", говорит Семен. "А почему и зачем – это вы меня не спрашивайте. То мое дело".

Сапунцов смотрит на Кюхоля, старик чешет в подмышках. В иглу уже тепло от человеческих тел и огня, поэтому Сапунцов откидывает капюшон и снимает вязаный чулок, который открывает закрывает от мороза лицо и уши. Хорошо. Голова отдыхает. Кюхоль наливают ему еще отвара и показывают: давай, заканчивай.

– А что заканчивать? – Сапунцов медлит, отхлебывает кипятка, пахнущего хвоей. Ай, блин. Язык обжигает, во рту вяжет от хвойного вкуса. – Дальше было просто. Отвели Семена в тюрьму, другую, не ту, где он сидел. В Московскую, в Бутырку что ли? В общем, сидит там Семен, ждет приговора, который ему еще десять лет добавит, как за побег положено.

И приходит к нему однажды та девушка, Варвара.

Сапунцов вздыхает, глотает отвар. Что-то рассказ становится уже не бойким, а тяжелым, словно свинец грузить или уголь мешками. Или лес валить, когда уже сил не осталось, а бригадир командует: давай еще, шевелись, бродяги!

– Семен сначала отказывался на свидание идти, но потом пошел все же. Видит, сидит перед ним та девушка, которую он от бесчестья спас, и из-за которой двадцать лет в тюрьме отсидел. Пришла она в красном платье болгарском, как девушки в столице ходят, в дорогих украшениях, с прической модной. И плачет она, сидит. Красивая такая, что глаз не отвести. Смотрит на нее Семен и говорит слова обидные: "Зачем явилась? Я, может, и вор, и убивец, но до чужой жены не охотник".

Варвара заплакала и говорит:

"Я тебя погубила. Когда судили тебя в первый раз, я хотела пойти, рассказать все, но братья меня не пустили, грозились: убьют".

"Так ты из жалости меня полюбила, значит? – недобро усмехнулся Семен, солдатский сын. – Не надо мне такой жалости".

"Сначала из жалости, а потом по-настоящему полюбила. Когда ты сказал, что меня всякой будешь любить – хоть красивой, хоть нет. Ждала я тебя, Семен".

"Не дождалась".

"Стал ко мне свататься начальник милицейский. И тогда братья сказали, что убьют тебя, если я за генерала замуж не выйду".

Побелел тут Семен.

"Лучше бы мне быть убитому", говорит. "Ты теперь замужняя жена. Ничего не

поделаешь".

Она залилась слезами пуще прежнего. Семен встал и хотел уже выйти, но на пороге обернулся.

"Хороший человек твой генерал?" – спрашивает.

Она поднимает голову, под глазами черные тени, тушь потекла.

"Очень хороший".

"Тогда будь ему хорошей женой. И ничего не бойся. Никогда ничего не бойся. За себя можешь бояться, но не за других".

Потом подумал и говорит:

"Братья убить меня, значит, обещали, если за генерала не выйдешь?"

"Да".

"Понятно".

Семен наклонился тогда и решетку погладил, словно девушку ту приласкал. Прощай, сказал он и вышел.

Сапунцов дергает головой, кружка вылетает из рук и опрокидывается. Пар взлетает. Ф-фух! Горячий отвар впитывается в пол, протаивая неровные ходы. Снег вокруг них окрашивается в зеленый.

Кюхюль смотрит на Сапунцова, но ничего не говорит.

– В общем, дальше было просто. Дали бы Семену десять лет, если бы на суде том не появился генерал и не рассказал, почему с Семеном такая беда приключилась. Пожалела его судья. И дала Семену всего полгода, для порядка. Отсидел он срок и вышел на свободу ранней весной, в марте. Капель вокруг, солнце сияет. Идет в ушанке старенькой, потертой, в ватнике и одежде казенной, а вокруг весна шумит.

Приехал, а мать его старенькая уже, болеет. Обнял он ее. День отдохнул, а потом пошел на работу устраиваться. Жить-то надо. Сначала ему работы не давали, у него из документов – одна справка из тюрьмы. Но ничего, справился. Сначала черной работой, потом и хорошей начал заниматься. Токарем на заводе стал. Деньги появились. Только вот, сколько мать его ни просила, так и не женился Семен. Долго ли, коротко ли, только умерла она. Семен погоревал, на могилке постоял. Справили поминки. Семен домой пришел, поплакал. Утром переоделся в самый лучший свой костюм (у него еще с тех времен, как он часовым стоял, костюм хороший остался), взял штык-нож и пошел к братьям Варвары. Они в то время в саду гуляли, думали, что бы еще с генерала взять, через сестру-то свою.

Увидели они Семена, испугались, стали на помошь звать. Только не успели. Семен, солдатский сын, зарезал сначала одного, потом другого. Бросил штык-нож окровавленный в реку и ушел.

С тех пор больше его в том городе не видели.

Сапунцов некоторое время молчит, глядя в огонь. Потом поднимает голову, смотрит на Кюхюля.

– Вот и сказке конец, – говорит он. Кюхюль кивает: да. – А кто слушал... душно мне.

Скрип снега. Сапунцов выбирается на улицу с непокрытой головой, сразу мерзнет. Ноздри обжигает морозом. Лоб словно обручем стальным сдавливает. Он стоит на темнеющем, синеющем снегу и ветер трогает его седые (а ему всего тридцать два) виски.

– А кто слушал – молодец, – говорит он вполголоса. Пар дыхания отваливается толстыми белыми клубами, оседает на бровях и ресницах. Сзади из иглу вылезает Кюхюль, подходит, качает головой. У него в зубах дымится трубка. Хорошая история, показывает

жестами старик. Накинь капюшон, замерзнешь.

– Да, – говорит Сапунцов. – Дурацкая, конечно. Но неплохая.

Уши от мороза горят, как обожженные. Сапунцов надевает капюшон. Тепло. Ушам даже больно от внезапного тепла.

Кюхоль дает ему трубку. Засунув в рот горелый обкусанный мундштук, Сапунцов вдыхает дым. Они стоят вместе с "настоящим человеком", курят и смотрят, как вдалеке синеет лед.

Животные

(в соавторстве с Александром Резовым)

1

Грузовик шел медленно, неуклюже, подпрыгивая на бесконечных ухабах, и Баланову казалось, что до Центра они уже не доедут никогда. А если вдруг доедут, то вместо огромного железобетонного купола (по крайней мере, так описывали лабораторию те немногие, кому удалось на нее взглянуть), их взору предстанут древние, всеми позабытые руины с торчащими повсюду металлическими балками. Или это будет затянутый ряской котлован с гоноящими лягушками, беспокойными водомерками и плавающими среди ржавых балок утками. Или что-нибудь еще – непременно старое, запущенное, пережившее не одну сотню лет, – где обязательным атрибутом служат проклятые балки.

Водитель, которого звали не то Яликом, не то Яриком, всю дорогу сосредоточенно таращился куда-то в даль, изредка бросая взгляд на болтающийся над приборной доской брелок с обнаженной моделью. Модель крутилась, вертелась, подпрыгивала, заваливалась на бок, вставала вверх ногами, в общем – не давала себя рассмотреть.

И лишь однажды, когда машина провалилась в очередную яму, и Баланов со всего размаха ударился головой о потолок, шофер расхохотался. Эта выходка настолько разрядила обстановку, что, несмотря на изначальное чувство обиды, километров через двадцать пассажир был готов колотиться головой о крышу, двери, лобовое стекло до конца поездки, пусть даже таковой не собирался наступать.

Зато, как всегда незаметно, подошел к завершению день. Солнце, зависшее над верхушками елок, погасло, точно перегоревшая лампочка, и почти тут же на своем обычном месте появилась луна – ясная, полная, готовая светить всю ночь.

– Вот ведь черт, – заговорил Баланов. – Больше года торчу в Илимске, а привыкнуть к этим штучкам никак не могу. Разве что вздрагивать перестал.

Водитель глянул на брелок и ничего не ответил.

– Сперва уехать хотел, – упрямко продолжал Баланов, – в голове не укладывались ваши природные аномалии: то снег, то град, то дождь, то вообще солнечное затмение – и все в один день. Только кто ж меня выпустит в ближайшие годы? Бумагу, дурак, подписал, не подумал, теперь расхлебываю.

Водитель молча смотрел на темную дорогу, не догадываясь или не желая включать фары. И хотя все попутные машины исчезли после выезда на проселок, а ни одной встречной за все время так и не было, Баланов с наступлением темноты не переставал тревожно озираться.

Очередная попытка завязать разговор провалилась.

Разбудил Баланова незнакомый голос, упорно твердивший одну и ту же фразу. Как бывает спросонок, фраза, казалось, не имела никакого смысла, и единственной ее целью являлось доведение спящего до полного сумасшествия. Затем Баланова осторожно постучали по руке, тронули за плечо и стали трясти.

Лишь после десятиминутных страданий бедного, изнуренного человека таинственная

фраза начала приобретать смысл.

— Юрий Серафимович, просыпайтесь, приехали. Юрий Серафимович.
И Баланов проснулся.

Водителя в кабине уже не было, а сам грузовик стоял в небольшом, плохо освещенном гараже рядом с такими же старыми и грязными «Уралами». Справа на стене висел пожарный щит, невдалеке начиналась и уходила в дыру в потолке крутая металлическая лестница — с хлипкими проржавевшими перилами. Левую стену украшало множество плакатов с малопонятными схемами и рисунками. На одном из рисунков Баланов рассмотрел выведенную крупными буквами надпись: «Не курить!», — чуть ниже — перечеркнутую сигарету. Плакат по соседству предупреждал: «Шины не прокалывать. Штраф 1000 рублей», — что, похоже, осталось незамеченным или проигнорированным, потому как большинство грузовиков стояло накренившись.

Возле Баланова замер на подножке маленький лысоватый человек с уставшими глазами. Он терпеливо ждал, пока гость придет в себя и осмотрится.

— Вы, наверное, Кирилл Мефодьевич? — обратился к нему Баланов. — Очень приятно.

— Да, мне тоже, — кисло улыбнулся собеседник. — Никак не ожидал, что придется вас будить. Сам, знаете ли, никогда в дороге не сплю. Не могу и все. Прямо как болезнь. А вам даже позавидовал — чтобы с Яником, да при такой болтанке...

Баланов пожал плечами, почувствовав вдруг накопившуюся усталость. Разбитое телоказалось сработанным сплошь из булыжников и металлических уголков. Шею ломило. Баланов невежливо потянулся, уперся ладонями в потолок кабины, хрустнул суставами и наткнулся взглядом на брелок. Модель над приборной доской едва заметно покачивалась — вправо, влево, вправо, снова влево. Плохо отрисованные розовые коленки. Ничего в ней особенного не было, зря только глаза в дороге мозолила.

— Разрешите? — сказал Баланов.

Кирилл Мефодьевич кивнул и исчез. Фамилия его была Коршун — знатная фамилия, если задуматься — но именно думать сейчас Баланову совершенно не хотелось. Он дождался, когда лысина уйдет вниз, с трудом нашел ручку — лязгнуло железом, заскрипела, отворяясь, дверь. Неловко переставляя тяжелые, словно бы чужие ноги, Баланов встал на подножку. Повернулся, бросил последний взгляд. Ну, бывай, Яник-Ярик... Руль, обмотанный синей, почерневшей от ладоней, изолентой; рукоять коробки скоростей с прозрачным набалдашником, в котором застыла красная роза. Брелок над приборной панелью тихонько раскачивался...

Баланов потянулся, чтобы рассмотреть его наконец, ухватил модель за голые коленки. В следующее мгновение нога предательски соскользнула. Закачался пустой шнурок... Баланов про себя выругался — лишать Яника женского общества, пусть даже — пластикового, в его планы не входило. В ладони оказался брелок.

— Юрий Серафимович, вы в порядке? — высунулся Коршун. Не вовремя. Чтобы не терять время на неловкие объяснения, Баланову пришлось зажать добычу в кулаке и спрыгнуть вниз...

— Тихо тут у вас. — Баланов неопределенно мотнул головой — здесь, в гараже. И вообще тихо. Трофей спрятал в карман, чувствуя себя, по меньшей мере, мальчишкой. Ничего, верну при первом же удобном случае, решил Баланов.

Отбитые при прыжке ноги легонько гудели.

— И не говорите. — собеседник вздохнул. — Все-таки четыре утра. Но и днем не слишком

шумят, не думайте. Здесь у нас режим. Отбой в полдесятого. Даже сам Юлий Карлович. Это днем они гении. А ночью все по кроваткам, и банинки.

Он переступил с ноги на ногу. Потом шагнул к Баланову.

— Юрий Серафимович, миленький, — заговорил Кирилл Мефодьевич едва ли не шепотом. В глазах лысоватого Коршуна зажегся странный, голодный огонек. — Вы меня прости, ради бога. — Он облизнул губы. — Вы... вы привезли?

Баланов помедлил. Нашупал пальцами гладкий пластмассовый корпус. Ладонь почему-то взмокла. В груди сидела непонятная заноза — будто ребенка ограбил. Глупость какая. Глупость и детство.

— Не знаю, о чем вы, — произнес Баланов. Лицо собеседника вытянулось. — Кирилл Мефодьевич, дорогой...

— Пойдемте, — сказал Коршун сухо.

Гулкие бетонные коридоры — почему-то круглые, как канализационные стоки — вели Баланова с провожатым все глубже, спускаясь с уровня на уровень, встречаясь и разбегаясь надвое и натрое — словно узлы электрической схемы. В тусклом желтом свете, процеженном сквозь потолочные решетки, монотонно гудели вентиляторы. Баланов старался дышать ртом — воздух здесь был сухой, кондиционированный, неживой совершенно. Звуки Балановских шагов усиливались в нем, набирали басы и, возвращаясь с эхом, накладывались на неровный ритмический рисунок походки Кирилла Мефодьевича.

За полчаса им не встретилось ни души — здание точно вымерло. Да было ли оно когда-нибудь обитаемым? — Баланов уже сомневался. Ржавые балки, затянутая ряской поверхность воды и утки — спящие, упрятав головы под крыло. Начинается рассвет, выбеливает туман — теплым молоком, медленно вливающимся в кофе. Тут Баланов моргнул и понял, что дремлет на ходу. Теперь он видел происходящее сквозь дымку недосыпа — болезненно яркий свет, четкие, до рези, контуры решеток. Холодноватый запах хвойного освежителя и тошнотворный — горелой изоляции. Гул шагов и мелькающая впереди фигура Коршуна — мучительно четкая, различимая до деталей.

Дорога все не кончалась.

Баланов шел и каждые несколько шагов проваливался в параллельное измерение — к уткам.

Изредка на стенах встречались плакаты, исполненные в знакомой гаражной манере. Столы же лаконично-строгие. «Стекла не бить! Штраф 2000 рублей», — гласил плакат, висящий рядом с пожарным щитком. Видимо, с этой надписью тоже никто не удосужился ознакомиться, потому что стекло было разбито, вымотанный рукав залег поперек коридора — полотняная змея с оторванной металлической головой. Баланов осторожно переступил, каждую секунду ожидая, что змея оживет и обхватит его ногу мягкими кольцами.

«Диффузионная проницаемость, сказала утка. Торсионный пеленгатор. Да-да, Юрий Серафимович, проснитесь».

И Баланов проснулся в очередной раз.

— Так... так... так... — Кирилл Мефодьевич коршуном завис над Балановым. — Вот сюда, Юрий Серафимович. О стеночку облокотитесь.

Баланов ошелошел уставился на потолок, на забранные решетками светящиеся плафоны — и с облегчением понял, что находится не в грузовике. Обморок, должно быть, подкосил его в одном из бесконечных коридоров, приложил, к вящему удивлению Коршуна, о бетонный пол.

Однако удивленным Кирилл Мефодьевич не выглядел.

— Предупредить вас забыл, — сказал он. — Лаборатория с подозрением относится ко всем новичкам. Она их, так сказать, пробует. На зубок.

— На зубок? — Баланов осторожно тронул затылок. — Что за ерунда? Как лаборатория может пробовать?

— Я выражаюсь образно, — исправился Кирилл Мефодьевич. — Не удержался — люди из города в наше время большая редкость. Раритеты!

— И зачем же вы эту редкость запугиваете? — поинтересовался Баланов. — Не боитесь потерять нас, раритетов, окончательно? А?

— Вы поднимайтесь, Юрий Серафимович, поднимайтесь, — проигнорировав вопрос, засуетился Коршун. Пока он выбирал, с какой стороны удобнее прийти на помощь, Баланов встал самостоятельно. — Следующий всплеск будет не скоро, дойти успеем.

С этими словами Кирилл Мефодьевич взял Баланова под руку. Затем, мягко пресекая попытки «раритета» освободиться, выбрал один из четырех коридоров.

Некоторое время Коршун шел молча. Хмурил брови, к чему-то прислушивался, разглядывал прикрепленные к потолку пожарные датчики, точно видел их в первый раз. Баланов против воли заинтересовался. Чему тут загораться, казалось бы? Плафоны здесь стеклянные, такие, как правило, при высоких температурах скучно раскалываются — в отличие от громко лопающихся лампочек. Ну а бетон трескается и крошится, абсолютно не думая гореть.

— Это не обморок, — неожиданно заговорил Кирилл Мефодьевич. — Обычный сон, необходимый любому здоровому организму. Своебразная защитная реакция на лабораторные всплески, и пока она есть, надо только радоваться... Наведенная нарколепсия, если хотите. Вот что вам, к примеру, снилось?

Баланов задумался.

— Утки, — вспомнил он. — Говорящие. И на редкость ученые. Странное, кстати, зрелище.

— С утками вам повезло, — улыбнулся Коршун. — Мне однажды приснился путь из гаража на склад. Со всеми полагающимися подробностями: коридорами, дверями и прочим. Шел не меньше получаса, массу дум передумал. Вспотеть, простите за подробности, успел. Умаяться. А потом проснулся — в гараже, на полу, аккурат возле лестницы. Тело ноет, голова гудит и переваривает одну единственную мысль: до склада еще топать и топать. Знаете, Юрий Серафимович, нет ничего более гадкого, чем переделывать уже доведенную до конца работу...

— С этим я, к сожалению, знаком.

Баланов в очередной раз попытался высвободить руку, но Коршун отчего-то напрягся. Хватка стала железной, в глазах появилось странное выражение — нетерпение, смешанное с испугом. Это длилось не больше пары секунд — мышечный спазм, судорога, пробежавшая по телу провожатого, не оставившая ни единого следа, кроме побелевших от напряжения губ.

— Вот мы и пришли, — осипшим голосом произнес Коршун, указывая на темную нишу в стене. — Постарайтесь не шуметь, все спят.

Справа от ниши синими трафаретными буквами было выведено «Жилой блок». Кирилл Мефодьевич, избавляя Баланова от своего чересчур тесного общества, нажал на ручку утопленной в стену двери.

Утро для Баланова началось со столовой. Что-то было и раньше: непонятная суета за дверью, бодрые голоса, смех, яркий свет ламп, внимательное лицо Коршуна. Затем: кафельный пол, длинные ряды металлических раковин, снующие вокруг люди, ледяная вода и почти знакомое отражение в зеркале. Снова Коршун, свет, кафель, спины, спины, спины, лежащий на батарее резиновый сапог. Но все это смешалось в единую неаппетитную кашу, наподобие той, что Баланов с подозрением ковырял ложкой вот уже десять минут кряду. Более привлекательной каша не становилась: желто-зеленая субстанция, липнущая к столовым приборам (в том числе, вилке, взятой на случай, если блюдо окажется пудингом) и застывающая на глазах. Единственно верным решением казалось класть на нее кирпичи.

— Зря вы так долго над едой сидите, — раздался женский голос. — Остынет, совсем есть не сможете.

Баланов поднял глаза. Напротив него, держа поднос с завтраком, стояла коротко стриженая девушка. Ее хрупкая фигурка странно смотрелась на фоне общей массивности и бетонности Центра; покрытых голубым пластиком исцарапанных столов, круглых шершавых колонн, деревянных скамеек и сосредоточенно жующих физиономий. Будто пробивающийся из асфальта росток, немыслимым образом преодолевший наваленную на него тяжесть.

— А это едят? — усмехнулся Баланов. — Никогда бы не подумал.

— Зря смеетесь, — сказала девушка, — ничего другого в лаборатории вам достать не удастся. Только если за очень большие деньги... И то вас, скорее всего, надуют.

— Больших денег у меня нет, поэтому я спокоен, — Баланов оставил в покое ложку и показал на скамью. — Вы, быть может, присядете? Мне уже совсем неудобно.

Девушка улыбнулась. Наклонилась, чтобы поставить поднос — Баланов заметил на ее правой руке след от ожога. Браслетом он охватывал тонкое запястье и поднимался выше по предплечью, растекаясь белесым пятном.

Смузенный Баланов отвел глаза, усиленно заработал ложкой. Каша и вправду оказалась не столь отвратительной. Видимо, все дело в хорошей компании.

— Вы, значит, и есть тот самый специалист? — спросила девушка. — Из города?

Несколько жующих физиономий с любопытством повернулось в их сторону. Баланов почему-то почувствовал себя неловко — чужак в чужой стране; даже поесть спокойно не получается. Он отложил ложку.

— Кажется, да.

— Будете ремонтировать Машину Смерти?

— Чего?! — Тут Баланов понял, что его застали врасплох. Девушка засмеялась.

— Советская Машина Смерти, — сказала она. — У нас ее так называют.

— Кто называет?

— Да все.

Баланов хмыкнул, затем посмотрел на собеседницу, насмешливо прищурившись:

— А как вас называют? Если не секрет?

Оказалось — очень даже не секрет.

— Так что там с Машиной? — поинтересовался Баланов, когда церемония знакомства подошла к концу.

— Просто рядом с ней чувствуешь себя жутковато, — сказала Маша. — Она такая старая и

гудит. Вы знаете, очень странно. Будто внутри нее много-много злых пчел. Сидят внутри, и только глаза их в темноте отсвечивают.

— Это лампы, — пояснил Баланов. — Всего лишь старые электронные лампы. Не стоит их бояться. У них характерный звук. Мягкое такое гудение, понимаете? Ничего зловещего. Хотя... — он задумался и добавил уже менее уверенно, — если их много...

— Она большая, — сказала Маша.

Человек с высоты двухметрового роста внимательно рассматривал Баланова выпуклыми, темными, по-птичьи блестящими глазами. Горбатый нос человека опасно навис над головой Коршуна. Казалось, сейчас этот хорошо заточенный инструмент стремительно полетит вниз, набирая скорость, врубится в бледную лысину, как ледокол «Ленин» в арктический лед. И пойдет крошить — с хрустом и грохотом.

Молчание затянулось. Баланов не выдержал первым.

— Доброе утро! — произнес он громко.

Гость покачнулся, тонкие губы скривились.

— Какое, к чертовой матери, утро?! — в раздражении бросил человек. — Где вы его видите?

Баланов на мгновение оцепенел от подобной грубости. Горбоносый вновь покачнулся на длинных ногах. Развернулся среди голубых обшарпанных столов, точно океанский лайнер, и, гордо рассекая выдающимся форштевнем пространство столовой, вышел вон. Позади мягко колыхались жущие волны, поднятые кильватерной струей.

С минуту за столом царила тишина.

— Не обращайте внимания, Юра. — Маша отложила ложку. Звякнуло. — На самом деле он очень хороший.

— Кто это был? — спросил Баланов.

— Абрамов это был, Юлий Карлович, — кисло пояснил Коршун. — Да-да, не обращайте внимания, он всегда такой. Гений местного масштаба, что ж вы хотите. Знающие люди говорят: опубликуй профессор Абрамов результаты своей работы — наутро он проснулся бы ученым с мировым именем.

— А он разве?..

Кирилл Мефодьевич развел руками:

— Как видите, нет. Закрытая тема.

— Простите его, — сказала Маша — тихим, чуть шершавым, каким-то даже виноватым голосом. Баланов посмотрел на девушку. Вновь поразился ее совершенно нездешней, летящей хрупкости — и отчетливо ощутимой женственности.

— Бога ради, Маша, вы-то тут при чем? — спросил он.

Девушка невесело улыбнулась.

— Папа... он бывает не очень вежлив.

Коршуна внезапно заинтересовало содержимое собственной тарелки. Он нехотя, но энергично ковырнул вилкой в резиновой каše; взгляд его не отрывался от зелено-желтой поверхности, больше похожей на цветущее тропическое болото.

— Я... — начал Баланов, но остановился.

Маша смотрела на него так, что щемило сердце.

— Я понимаю, — сказал Баланов.

Кабинет начальника лаборатории оказался довольно просторным – с заваленным бумагами письменным столом, несколькими стульями и двумя шкафами – обычным деревянным и огромным металлическим, выкрашенным в серый цвет. Вытертый овальный коврик, непонятно каким образом сюда попавший, одиноко лежал посреди комнаты.

Лампы здесь были ярче коридорных, поэтому, войдя в кабинет, Баланов сощурился. И теперь, стоя перед начлабом, мысленно проклинал слезящиеся глаза.

– Я инженер по образованию, – сказал Баланов.

– Да хоть по модулю, – начлаб скептически изогнул брови, перевернул страницу Балановского личного дела, затем еще. – Лишь бы не «ноль». Ага, вот! Нашел.

Стекловодов пробежал словами строчку, хмыкнул и посмотрел на Баланова в упор.

– Хобби, значит?

– Увлечение, – поправил Баланов сдержанно. – Старая вычислительная техника советских времен. Нахожу, чиню, восстановливаю, собираю из запчастей. Я специализируюсь по пятидесятным, шестидесятым годам… Так что у вас за легендарная Машина Смерти? – попробовал он перейти в контратаку.

Коршун полузадушенno всхлипнул. Начлаб смотрел терпеливо, бровь его была все так же скептически изогнута.

– Ладно, инженер, – сказал начлаб. – Сейчас мы тебя проверим, – он подмигнул Коршуну. – Внимание! Сколько существует законов Ома? Отвечать быстро, не раздумывая!

– Два, – ответил Баланов с легкой заминкой. Недоумение перерастало в раздражение. – А вам зачем?

Начлаб воззрился на него с восторгом:

– Вы меня спрашиваете? Нет, вы меня спрашиваете?! – Баланов тупо моргнул, тогда начлаб повернулся к Кириллу Мефодьевичу. – Он меня спрашивает, представляешь, Киря?

Тот кисло улыбнулся.

– ВОН! – заорал начлаб, надсаживаясь, словно между ними было все здание лаборатории. В мгновение ока лицо его стало красным, кумачового цвета, вены вздулись на круглой лобастой голове. Смотрелся начлаб теперь в точности, как плохо выбритый сеньор Помидор – только смешным при этом не казался. – ВОН, Я ГОВОРЮ! ЧТОБ НОГИ ТВОЕЙ!!

Кирилла Мефодьевича криком вынесло из кабинета.

Рев прекратился.

– Так вот, Юрий Серафимович, – сказал начлаб совершенно обыденным, очень спокойным тоном. После жутких воплей тишина, казалось, давила на уши. – Мы вас заждались, если честно. Машина См… вычислитель наш стоит. И работа, соответственно, тоже. Кстати, вы уверены, что справитесь?

Баланов пожал плечами. Его все еще трясло.

– Вы рискуете, не я, – ответил он честно. – Техника ваша мне пока не знакома. В эксплуатации я ее не видел. Что, где, зачем, как понимаю, разбираться придется на нерабочей машине. Правильно? Так каких гарантий вы от меня хотите?

– Откройте, – начлаб показал на металлический шкаф, занимающий весь дальний угол кабинета. – Посмотрим, какой из вас специалист.

Баланов вскинул голову, в три шага пересек кабинет – и со злости чуть не выдернул дверцу шкафа. Противный металлический скрип…

Долгое время Баланов молчал.

– Откуда? – только и смог сказать он. – Такая красота.

Агрегат, похожий на громоздкую печатную машинку с переводной кареткой, белыми цифровыми клавишами, черными функциональными. Выполнен в обычном советском стиле: никакого изящества, это лишнее. Эдакий голубой бегемот, на левой стороне – металлическая эмблема: «Счетмаш», Курск.

Электро-механический калькулятор ВМП-2. Год начала выпуска: 1957. Мечта.

Бегемот смотрел на Баланова из шкафа и, кажется, собирался подмигнуть.

– И заметьте, прекрасно работает, – сказал начлаб.

Баланов не ответил. Машинально сунул руку в карман, ожидая встретить холод пласти массы. Прикосновение к дешевой безделушке сейчас бы успокоило Баланова – показало, что он еще в реальном мире; в мире, который не исполняет твои желания так мимоходом.

В кармане было пусто. Баланов пошевелил пальцами, провел по складкам, вдруг закатилось – бесполезно. Брелок с моделью исчез. Что ж, невелика потеря, подумал Баланов, глядя на «бегемота».

– МЕФОДЬИЧ, ЧТОБ ТЕБЯ! – перешел на знакомый язык Стекловодов. Баланов от неожиданности пригнулся голову. Рев давил на перепонки. Казалось, стена кабинета прогибается и идет трещинами, не в силах противостоять мощи этого первобытного темперамента. – ТЫ ГДЕ??!

– За дверью, – ответили за дверью.

– ТАК ЗАЙДИ!!

– А знаете, Юрий Серафимович, я вам эту штуку, пожалуй, подарю, – начлаб улыбнулся с неожиданной теплотой. Переключатель «кнут/пряник» с отчетливым щелчком перескочил на отметку «пряник».

У Баланова закружилась голова.

Не то, чтобы он привык к доброте начальства – но так открыто и честно подкупали его в первый раз. Сейчас начлаб скажет: «и это будет ваше, Юрий Серафимович. Только почините нашу чертову Машину».

Начлаб сказал:

– Забирайте, Юрий Серафимович.

– Сейчас? – в первый момент Баланов растерялся.

– А чего ждать-то? – резонно сказал Стекловодов. – Для меня это все равно кусок железа.

– Действительно, – Баланов потер висок. Навалилась какая-то потертая, равнодушная усталость. Несколько лет мечтал найти вот штуку, ночей не спал, все чердаки облизил – а тут в руки дают и денег не спрашивают, – но радости почти нет. Как отрезало.

– Сколько она весит? – Коршун смотрел без энтузиазма. Видимо, предчувствовал, кому придется на своем горбу тащить Балановскую красоту.

– Килограммов двадцать пять, – подсказал Стекловодов.

– Восемнадцать, – Баланов назвал цифру по памяти. Настоящему коллекционеру стыдно не знать таких элементарных вещей – особенно о предмете страсти. – Нормальный вес. Доташу как-нибудь.

Официально, но крепко пожали друг другу руки. Баланов обхватил «бегемота», поднатужился. Блин! Тяжеленная у меня мечта, подумал он. Зато уж действительно: голубая – что есть, то есть.

– Рассчитываю на вас, Юрий Серафимович, – сказал Стекловодов веско, прежде чем

закрыть за гостями дверь. – Не прощаюсь.

Пока они шли по коридору, кислое лицо Кирилла Мефодьевича постепенно разглаживалось, возвращаясь к привычному своему выражению. Покрытая капельками пота залысина красиво блестела в мягком свете ламп.

– Как вам понравился шеф? – спросил Коршун.

– Он всегда у вас такой... – Баланов замешкался, шевельнул пальцами, пытаясь подобрать нужное слово, – такой эмоциональный?

Коршун тяжело вздохнул.

– Как бы вам, Юрий Серафимович, подоходчивее...

– Я понимаю, – сказал Баланов.

3

– Я тучка, тучка, тучка, – пробормотал Баланов, разматывая провода тестера, – я вовсе не медведь... – он прикрепил красного «крокодильчика» к схеме. – А как приятно тучке... да по небу... – закрепил второй контакт, – лететь...

Взглянул на прибор. Стрелка качнулась и встала на середине шкалы. Нормально. Можно двигаться дальше. Баланов «прозванивал» шлейфы на автомате, отключив голову, опыт; руки сами делают все, что нужно.

Мощная лампа на стальной треноге, притащенная со склада по его просьбе, продавливала темноту, как экскаваторным ножом; сильно нагревала спину даже сквозь одежду. Баланов повел лопатками и понял, что взмок – работать под лучом этого прожектора было тяжело и душно, а без него видимость сводилась к нулю. Как на сцене, под огнями рампы, подумал Баланов. «В роли Ричарда Третьего – приглашенная звезда, артист Больших и Малых академических театров!». Баланов хмыкнул. Вслед за ним хмыкнуло эхо.

Ослепительно белый, жесткий свет проявлял из черноты развороченные внутренности Машины Смерти – ряды приборных шкафов, этажерки полок с печатными платами, связки проводов, похожие на толстых отожравшихся удавов. В глубинах Машины, до поры затаившихся, тихонько позвякивали тысячи электронных ламп.

Тишина угнетала. Казалось, за границами белого конуса нет ничего – совсем ничего. Темнота, мрак, космический холод, безжизненные пространства одиночества и тоски. Остался только фрагмент Машины, участок выбеленного щербатого бетона, сам Баланов – и все. Только это существует, только это висит в пустоте. Сделав шаг за границу белого света, ты исчезнешь. Там все исчезает.

– Это какие-то неправильные пчелы, – сказал Баланов громко. По залу прокатилось эхо, увязло в углах.

Он отложил тестер, выпрямил затекшую спину, посмотрел на часы. В работе и тишине потерялось ощущение времени – а уже, оказывается, пора обедать. Он потянулся, покрутил головой. Хрустнули позвонки. Снова посмотрел в глубь Машины, туда, где поблескивало стекло. Лампы. Баланов любил электронные лампы, обожал их теплое свечение; и в усилителях они звучали тепло и мягко – в отличие от жесткого транзисторного звука. Но эта Машина... С ней было что-то не так. Она его пугала. Ощущение было иррациональным, необъяснимым.

«Много-много злых пчел. Сидят внутри, и только глаза их в темноте отсвечивают».

— Глупость и детство, — сказал Баланов еще громче. Переждал гулкий ответ эха, двинулся вперед, перешагивая через силовые кабели. Возле станины прожектора, краями задевая темноту, высились неровные стопки книг и пожелтевших альбомов. Эдакие талмуды, священные писания — для единственного бога, которого зовут вычислительная машина М-21. Или, иначе, со страхом и уважением: Советская Машина Смерти.

Баланов уселся и взял в руки альбом принципиальных схем, заложенный измятым листом с пометками. Вычеркнул названия блоков, которые успел проверить. Придется убить на это массу времени — конечно, если его вдруг не осенит гениальная мысль.

Так или иначе, но Машина встала — а он пока не мог понять, почему.

От серийной М-20, выпущенной в 1958 году, лабораторная машина отличалась немногим: ее сделали в 59-ом, и в ней был еще один, дополнительный блок — обозначенный на схеме как «главный шкаф Е». Получается, кроме обычного «главного шкафа» потребовался добавочный? Зачем? И что значит это «Е»? Единый?

Баланов огляделся. Ага, вот она. Наклонился и вытащил из стопы толстую серую тетрадь, похожую на амбарную книгу. На обложке крупным почерком выведено: «Главный Е. Только с личного разрешения Красницкого». Размашистая подпись — и рядом прекрасная, образцовая, словно вырезанная из фиолетовой бумаги, клякса.

Интересно, подумал Баланов.

Он с удовольствием вдохнул запах старой бумаги, раскрыл тетрадь наугад. Через секунду брови у него поползли на лоб — и было отчего. В отличие от документации к остальным блокам Машины, все схемы «Главного Е» были нарисованы от руки — причем даже не чертежной тушью, а химическим карандашом. Вкривь и вкось; как бог на душу положит.

Очень интересно, подумал Баланов.

Он углубился в изучение принципиальной схемы. Пока ничего из ряда вон выходящего: каскад усилителей по напряжению, еще один — по мощности. Выпрямительный мост, тиристорный ключ. «Генератор хаоса» на двух вакуумных лампах — знаем, проходили.

Стоп, а это что? — Баланов даже не удивился. Рано или поздно он должен был найти что-то подобное.

Баланов посмотрел на портрет, висящий на стене в столовой. Рама была золоченая и массивная, в толстых мясистых завитках растительного рельефа, пыжащегося изобразить из себя нечто античное. За этими изысками совершенно терялся человек, на портрете запечатленный. А он стоил внимания: узкое, морщинистое лицо, запавшие щеки, нависающий лоб в обрамлении седых прядей, кустистые брови, словно маленькие белые взрывы.

Выпуклые глаза, смотрящие на Баланова равнодушно и холодно, как глаза насекомого.

Одет человек был в серый костюм — плохо пошитый, чисто советский; с галстуком-слюнявчиком и красной искоркой ордена на лацкане. Стекло, закрывавшее ранее портрет, было разбито. Осколки, застрявшие в раме, окружали человека — как сверкающие зубы. Казалось, он сидит в чьей-то оскаленной пасти.

Баланов посмотрел на осколки, лежащие на полу. В них отражалась стена, выкрашенная голубой краской.

Вокруг стоял характерный гул множества голосов, звон посуды, стук ложек, клацанье челюстей. Пахло пригоревшей картошкой и почему-то сухофруктами — хотя Баланов уже сто

лет не видел здесь на обед ни картошки, ни компота. Все вокруг было в голубоватом свечении – идущие мимо люди оставляли за собой размазанный шлейф. Движения казались чуть рваными, словно в плохой анимации. Баланов моргнул.

– Юрий Серафимович. Юрий Серафимович, вам плохо?

Перед ним стоял Коршун – самый обычный, вполне материальный. Ощущение мира вернулось. Баланов сглотнул. Больно. Ощущение такое, будто глотку прочистили металлическим ершиком. «Что со мной, черт возьми, происходит?»

Он посмотрел на лысину Коршуна.

– Мне хорошо. – Баланов выпрямился. – Кто на портрете, не знаете?

Кирилл Мефодьевич посмотрел с сомнением.

– Как же не знаю? – сказал он. – Олег Леонидович Красницкий. Здесь его все знают. Генеральный конструктор, создатель Центра. Уникальная личность, между прочим. И физик, и математик, и биохимик, и на флейте, говорят, игрец. Здание, в котором мы находимся, построено по его проекту, представляете? Человек Эпохи Возрождения!

– Знаете что, Кирилл Мефодьевич, – сказал Баланов неожиданно, – а приходите ко мне сегодня в гости. Где-то в районе ужина. Я вас чаем напою.

С минуту Коршун молчал, глядя на Баланова уставшими, недоверчивыми глазами.

– Я... – начал он. В горле у него булькнуло.

– Вы были правы, – сказал Баланов. – Я действительно кое-что привез.

Коршун справился с собой. В глазах появился знакомый огонек, лицо сразу помолодело. Он выглядел лет на пятнадцать бодрее.

– Я приду, Юрий Серафимович. Обязательно.

Баланов кивнул.

Он повернулся и увидел уборщика – черноволосого, вихрастого парня в синем халате. Парень сосредоточенно работал щеткой на длинной ручке, лицо его было угрюмым.

Баланов пригляделся и невольно вздрогнул.

Парень подметал вокруг разбитого стекла – очень тщательно, чтобы не коснуться осколков.

Округлый серый камешек, каких полно на берегу любой деревенской речки, засунут между грубо расклепанными медными пластинами. На камешке мелкие царапины – какие-то рисунки и буквы. Скорее всего, иврит, подумал незнающий языков Баланов. Алхимические заклинания. Или Каббала. Или цитаты из Некрономикона безумного араба Аль-Хазреда. Сейчас он бы ничему не удивился. Баланов подсветил фонариком – нет, не показалось. Весь «главный шкаф Е» был смонтирован вокруг этой непонятной фиговины, которую словно на коленке делали. Причем, кажется, кувалдой. Он придвинулся ближе, увидел на позеленевшей меди круглые вмятины и характерные мелкие бороздки.

Поправка, решил Баланов. Молотком и плоскогубцами.

«Уж не сам ли Красницкий постарался?»

В серой тетради эта фиговина обозначалась как «Генератор струны». Зачеркнуто. Сверху написано: «Струна – бред! Туннель или ворота, вот это что. Окно в космическую Европу. Аве, Петр!»

К фиговине шла целая система паяных дорожек и тонкий силовой провод в горчичного цвета оплётке.

Красота, подумал Баланов, теперь у меня есть «окно в Европу» на двести двадцать вольт

и ноль шесть ампера.

Кирилл Мефодьевич покосился на голубого «бегемота», но ничего не сказал. Прошел в комнату, опустился в кресло. Осторожно, стараясь погасить жадный огонек в глазах, огляделся.

— Чай? — предложил Баланов вежливо.

— Да, конечно. Спасибо.

Коршун откинулся в кресле, оставаясь внутренне напряженным. Внимательно смотрел, как хозяин выставляет на столик стеклянную вазу с печеньем. Внимательно отхлебывал из чашки, внимательно жевал печенье. И молчал.

Баланов нахмурился. Эту встречу он представлял совсем по-другому. Он припирает Коршуна к стене. Доказательств достаточно. Он сам видел многое из того, что посторонним знать не следует... Почему же сейчас при здравом размышлении от его аргументов ничего не осталось? Ни-че-го. Бульжник? Смешно. Машина Смерти? Еще смешнее. Только одно у него, Баланова, в запасе...

Он нарочито медленно достал из верхнего ящика тумбочки маленький предмет, завернутый в почтовый пергамент; размером не больше спичечного коробка — только овальный. Кирилл Мефодьевич заерзал, глаза его неотрывно следили за движениями Балановских рук.

Сейчас ты у меня запоешь, подумал Баланов.

Когда сверток лег перед Коршуном, тот даже отшатнулся.

— Это... — он слегкнул. — Это чье?

— Ваше, — сказал Баланов мягко и вкрадчиво, будто много лет служил в белогвардейской контрразведке. Ему даже понравилась новая роль. Жестокий и обаятельный штабс-капитан Баланов, коварная скользкая змея в белых перчатках.

— Мое? — голос у Коршуна сел. Затем Кирилл Мефодьевич вдруг поднял голову и посмотрел на Баланова в упор. Усмехнулся — и вовсе не так, как положено жертве. — Да, мое, — спокойно сказал он. — Спасибо.

Баланов опешил. Образ безжалостного и обаятельного штабс-капитана разваливался на глазах.

— И вы... вы не боитесь? — спросил он, уже понимая, что выглядит беспомощно и глупо.

Коршун обидно засмеялся. Потом увидел лицо Баланова и замолчал.

— Как вы думаете, что это? — сказал Коршун неожиданно тепло, без тени насмешки или вызова.

Баланов пожал плечами. Блестящий образ контрразведчика рассыпался, ему ничего не осталось, кроме как сохранять хорошую мину. Вот и поговорили, подумал Баланов. Вот тебе и наживка.

— Думаете, наркотики? — Коршун ждал ответа.

— Думаю, это не мое дело.

Кирилл Мефодьевич хмыкнул, принялся неторопливо разворачивать сверток. Баланов невольно вытянул шею. Ах ты, черт!

На ладони у Коршуна лежал маленький желтый приборчик, похожий на детские

электронные часы. Закругленный корпус, большие розовые кнопки числом четыре, несколько маленьких. Чувствовалось, что приборчик не новый, царапины, потертая пластмасса. Так это же!.. Баланов почувствовал, что краснеет.

— Таких сейчас не делают, — сказал Коршун. — По крайней мере, у нас. Великолепная вещь.

Смешной. Маленький. Круглый. Та-ма-го-чи.

Давно Баланов не чувствовал себя таким идиотом.

— Был интересный опыт, — сказал Кирилл Мефодьевич, деликатно помешивая чай ложечкой. — Вот скажем, лягушка, если попытаться засунуть ее в кастрюлю с горячей водой — обязательно выскочит.

Баланов поднял брови. Забавные, однако, у Коршуна истории. Веселые очень, оптимистичные.

— Вполне ее понимаю, — сказал Баланов.

— Я тоже, как ни странно, — усмехнулся собеседник. Потом вдруг стал серьезным. — Еще как понимаю. А вот если посадить лягушку в холодную воду, а потом поставить кастрюлю на медленный огонь... Знаете, что будет? Лягушка и не заметит, как сварится.

— Серьезно? — сказал Баланов. — Был такой опыт? Не шутите? Забавно.

Коршун поднес кружку к губам, аккуратно отхлебнул; поставил кружку на блюдце; посмотрел на Баланова. Его лысина блестела от пота.

— Вот именно, Юрий Серафимович. Забавно. И страшно к тому же, если подумать... Хотите еще историю?

— Хочу. — Теперь Баланов смотрел на этого маленького смешного человечка совершенно иначе.

— Вторая история. — Коршун отхлебнул, подавился, закашлялся. Брызги полетели ему на грудь вместе с кусочками печенья. Он начал убирать их рукой. — Извините!

— Ничего, — сказал Баланов.

— Так вот, — сказал Коршун, закончив отряхиваться, — был я однажды, лет сто назад, на детской площадке. Хорошее было время... Солнце, зелень, дети. Кто-то кого-то лопаткой бьет, там мамаша кричит, рядом в догонялки носятся с воплями, чуть с ног тебя не сбивают. Хорошо, в общем.

Он посерезнел.

— Вы слышите, Юрий Серафимович? Представьте, маленькая девочка, шапочка на завязках. Маленькая еще, только недавно ходить научилась. Синяя джинсовая куртка и красные башмачки. И вот она в первый раз сама взбирается на горку... Знаете, есть такие сложные сооружения из труб, там площадка наверху из досок, сверху крыша железная, одна горка, другая... Вот такая горка.

Кроха опирается на ступеньки, пыхтит, ей тяжело в одежде — ее хорошо укутали, чтобы не простудилась, не дай бог. Родители, они такие, вы поймете...

Залазит наверх. Стоит гордая. Крохе подвластно пространство, она как раз освоила третье измерение. Это особое чувство... так что некоторое время она этим чувством наслаждается. А потом кроха идет дальше.

Деревянный настил, железные трубы, синяя, оранжевая, зеленая краска, вытертая сотнями и сотнями детских рук — а дальше настил разобран, нескольких досок не хватает. А маленькая девочка, ей года полтора, шагает и шагает вперед. И наступает момент, когда она

заносит свой красный башмачок над бездной. – В глазах Кирилла Мефодьевича была чернота. – Она не понимает.

Баланов помолчал.

– Все?

– Все, – сказал Коршун. – Такая история без конца.

– Или с плохим концом?

Кирилл Мефодьевич покачал головой, беспомощно развел руками.

– Не знаю. Это вам решать.

– И какой же вывод? – спросил Баланов. – Девочка – это мы, человечество? Я правильно понимаю? – он помедлил. – Или лягушка?

– А вы как думаете?

Баланов помолчал. Во рту почему-то ощущался кислый металлический привкус. Вода здесь, что ли, такая?

– Лягушка, – сказал Баланов, наконец. – Хотя...

Коршун тяжело вздохнул.

– А я вот надеюсь, что девочка. Дети – они ведь учатся, правда? – он посмотрел на Баланова с надеждой. Потом вдруг помрачнел. – Человечество, увы, лишено инстинкта самосохранения, Юрий Серафимович. То есть, по отдельности мы все орлы – а вот вместе! Животное какое-то. Лягушка. Даже если ребенок! – Коршун помотал головой. – Ничего хорошего. Ни-чег-го... К сожалению, Юрий Серафимович, мы как маленькие дети – в какую только хрень, извините за прямоту, руки не сунем... А потом эта хрень, снова извиняюсь, нас жрет с потрохами!

...Уже в дверях Баланов не выдержал. Ну не коллекционер же Коршун этих дурацких тамагочи! Коллег Баланов чувствовал за версту, а тут... Черт его знает.

– Все-таки, – Баланов помялся. Ему было откровенно неловко. – Зачем вам... это? Ну, тамагочи?

С минуту Кирилл Мефодьевич молчал.

– Вы не знаете, что такое одиночество, Юрий Серафимович, – сказал Коршун серьезно. – Счастливый вы человек. Спокойной ночи.

Когда за гостем закрылась дверь, Баланов вернулся в комнату. Потянулся к часам – одиннадцать, время спать... остановился в недоумении.

На прикроватной тумбочке, розовым пятном выделяясь на фоне белой кружевной салфетки, лежал брелок с обнаженной моделью. Тот самый, потерянный два дня назад. Баланов покачал головой. Неужто Коршун принес? Бред какой-то. Устал я, подумал Баланов. Подошел и сел на кровать. Потянулся к брелку, убрал руку. Нет, хватит на сегодня вопросов. Спать, спать. Баланов положил голову на подушку, раскинул руки. На веки навалилась темная подушечная тяжесть.

– Счастливый я человек, – сказал Баланов в потолок. Звучало глупо, словно говорит пьяный. Внезапно Баланов поднял голову, вспомнив важное; повернулся к тумбочке, стоящей с другой стороны кровати. «Бегемот» смотрел на него ровными рядами черно-белых клавиш – невозмутимо, как голубой будда. Баланов невесело улыбнулся.

– И тебе спокойной ночи, монстр.

Вскочив с кровати, Баланов понял, что сейчас начнется. Льющийся из-под двери свет

медленно вползал в комнату, облизывая темно-желтым языком шершавый бетон, карабкаясь по стенам, проталкивая себя все дальше и дальше. Запах у света был подозрительно знакомый, сладковато-терпкий, отдаленно напоминающий хурму, но оставлял во рту неприятный металлический привкус. Баланов поставил ногу в растекшуюся по полу лужицу и почувствовал, как стопу, а потом и щиколотку окутывает нечто теплое, склизкое, похожее на утреннюю кашу, которую с невероятным аппетитом уплетали в столовой жующие физиономии. Да и запах теперь оставлял в голове четкие, знакомые образы – покрытые голубым пластиком исцарапанные столы, круглые шершавые колонны, деревянные скамейки, сидящая напротив Маша, странный ожог на руке, картина в массивной золотой раме и мрачное лицо главного конструктора.

Неожиданно, далеко за спиной, за толстыми бетонными перекрытиями и металлическими дверями словно обрушилось что-то огромное, угробно зарокотало, покатилось клокочущей волной по бесконечным коридорам, перемалывая забранные решетками плафоны, пожарные датчики и щиты; ударило по ушам, свалило на колени, отшвырнуло с чудовищной силой в сторону, нещадно скручивая и сминая. Баланов смотрел на пролетающие мимо обломки столов, колючие щепки и с паническим страхом ожидал момента, когда затрешат кости, волются изнутри острыми своими концами – а они все не трещали, выдерживая немыслимые, с трудом представимые нагрузки, как будто их подменили обрезками садового шланга или вовсе изъяли, предвосхищая новый виток эволюции.

Закончилось все так же внезапно, как началось. Рокот сперва превратился в хрип, а потом и вовсе исчез, будто выдернули из розетки работавший на полную мощность пылесос. Медленно оседала бетонная пыль, открывая взору абсолютно не изменившуюся столовую. Лишь картина в золотистой раме почему-то лежала на полу – лицевой стороной вниз, – избавляя от тяжелого, неуютного взгляда конструктора. А высоко на стене, где она некогда занимала почетное место, зияла круглая дыра с неровными обгрызенными краями и обломками арматурных прутьев. Свисавшие с обломков лохмотья пыли слегка трепетали, обнаруживая сквозняк.

Баланов опустил глаза и вздрогнул, невольно отступая на шаг. Портрет уже не покоился на холодном полу, а парил в дюжине сантиметров над ним, с каждой секундой поднимаясь все выше. Между волокон холста сочилась густая бесцветная жидкость, заполняя собой подрамник. И тут картина накренилась, выплескивая на ноги скопившийся кисель; выпуская на свет невероятных размеров насекомое – гигантского муравья, доходящего Баланову до пояса.

Насекомое шевельнуло усиками, оглянулось и посмотрело на Баланова огромными фасеточными глазами. Угольно-черное тело качнулось из стороны в сторону, рискуя завалить набок своего владельца, однако цепкие лапы удивительно ловко нашли опору, подогнулись и выбросили муравья вперед. Преодолев одним прыжком расстояние до стены, насекомое с легкостью уцепилось за нее и, все еще продолжая смотреть назад, пронзительно запищало; рванулось к дыре.

Баланов хотел было схватить муравья за задние лапы, но неуклюже повалился навзничь, поскользнувшись на растекшейся слизи. Он пытался встать, опирался на локти, поворачивался на бок и тут же переваливался обратно на спину. Тело в какой-то момент стало громоздким, неудобным, всякая попытка подняться заканчивалась падением в скользкую лужу. Только спустя долгие минуты мучений неимоверным, почти титаническим

усилием удалось перевернуться и опереться на гудящие лапы. А, перевернувшись, Баланов начал торопливо карабкаться по стене.

Оказавшись в дыре, он ощутил слабое дуновение, жадно вдохнул, стараясь уловить тоненькую струйку свежего воздуха – запаха травы и земли, – чтобы восстановить в памяти картинки из давно позабытого внешнего мира; отрывисто выдохнул, как перед стопкой водки, и побежал.

Нора постепенно расширялась – стены раздвигались, потолок уходил вверх, обрастая пожарными датчиками и тускло светящимися лампами. Темно-желтые капли света срывались с плафонов и растворялись в воздухе сверкающей пылью.

«Надо отсюда выбираться, – подумал Баланов, – выход где-то там». «Там-м… там-м…», – подхватило эхо одинокую мысль, унося все дальше и дальше, стесывая о шершавый пол.

Лампа над головой разлетелась вдребезги, раскурочив металлическую решетку. Взорвалась вторая, третья лампы, погружая оставшийся позади коридор во тьму. Он бежал изо всех сил, щелкая от злости массивными челюстями.

В лапах запутался пожарный шланг – длинная полотняная змея с оторванной головой, обвивающая щиколотки или то, что теперь их заменяло. Хотелось остановиться, растянуть захватившую лапу петлю, но времени не было совершенно, как, впрочем, и рук.

И тогда Баланов увидел первое бегущее перед ним насекомое, затем еще, еще, и еще. Они бежали слитной молчаливой толпой, совершенно несвойственной муравьям. Давили друг друга, топтали изувеченные тела – в слепом страхе перед надвигающейся темнотой.

В коридор стекались все новые и новые существа – выламывая двери, прогрызая бетонные стены, выныривая из коридоров. В этот момент Центр показался Баланову гигантским бетонным муравейником со строгими норками лабораторий, паутиной ходов, преданностью единой цели. И цель была настолько единой, что сам Баланов, повинуясь инстинкту толпы, поддаваясь всеобщей панике и безумию, с трудом заметил возникшее на пути препятствие.

Посреди коридора стояла Маша. Невысокая, удивительно хрупкая, с большими сияющими глазами. Муравьиными глазами. Страшными фасеточными глазами, отчего-то полными слез.

Уродливый шрам на ее руке внезапно ожила, стал расползаться, охватывая плечо, шею, лицо, пожирая здоровые ткани, как неизвестный тропический паразит уничтожает заблудшего в его владения неудачника.

Маша протянула трясущиеся руки, шагнула к Баланову, растягивая губы в безобразной улыбке. «Утро? – удивленно спросила она. – Какое, к чертовой матери, утро?». И усмехнулась собственной шутке.

В этот момент последняя оставшаяся лампа разлетелась, брызнула темно-желтыми осколками, погружая коридор во тьму.

А потом обрушилось что-то огромное, утробно зарокотало, покатилось клокочущей волной по бесконечным коридорам, перемалывая забранные решетками плафоны, пожарные датчики и щиты…

А потом он проснулся.

Дверь в хранилище была на редкость массивной – тяжеленный кусок металла, сваренный из нескольких листов, круглая ручка-штурвал по центру. Стандартные трафаретные буквы красного цвета объявили: «Центральное хранилище. Посторонним вход воспрещен!».

«Ну что ж, – подумал Баланов, – надо осваиваться. А то – не кури, не прокалывай, не бей. Начну-ка я новую жизнь», – и крутанул металлическое колесо.

Внутри что-то задребезжало, мелко затрясся штурвал, оставляя неприятный зуд в руках. Застрекотали поворачиваемые шестеренки. Дверь слегка отпружинила, соскакивая со штырей и, лениво скрипнув, приоткрылась. Вернее, подалась на полтора сантиметра вперед, опираясь на плохо смазанные петли.

– Сюда не так часто захотят, – говорила Маша, пока Баланов боролся с замком. – Один раз в день и то – ранним утром. Продукты для кухни забирают или так, для порядка.

– Хорош порядок – такие бандуры вешать, – прокряхтел Баланов, открывая дверь. – Уф, ее ведь надо будет еще и закрыть.

– Я помогу, – Маша улыбнулась и нырнула в темноту.

Раздался щелчок, вспыхнуло десятка два ламп, освещая средних размеров помещение, заставленное ящиками и коробками. Напротив входа стоял огромный чан с мостками по всему периметру. Справа, вдоль стены, к мосткам вела металлическая лестница, под которой виднелись сваленные горой мешки. В мешках, судя по рассыпавшимся грязным плодам, хранилась не то картошка, не то свекла – определить издалека не удавалось.

– Теперь хранилище не такое, как раньше, – продолжала Маша. – Опустело с тех пор, как сломалась Машина. Продукты без нее взять неоткуда, разве что в Илимск ехать. А кто этим будет заниматься? Насколько я знаю, в гараже всего пара грузовиков на ходу и такая же пара водителей. Поэтому лучше тебе поспешить с ремонтом. Месяц мы продержимся, но потом...

– Урежете порции, – Баланов задумался. – Скажем, в два раза. Пара месяцев для меня – идеальный срок.

– В два раза?! Знаешь, что хищники иногда делают с себе подобными? С голодухи? – она скривила губы. – Если ты хоть раз смотрел передачи о дикой природе, то поймешь, о чем я.

– Неужели все так плохо?

– Просто отвратительно. Единственный плюс соседства с Мусоркой – исключительное взаимопонимание. Отсюда – слаженная работа,

Баланов нахмурился.

– Сегодня утром ты говорила о добываемом в Мусорке... существе, – его передернуло от одного только воспоминания. – Не зря меня воротило от этой подозрительной каши. Так называемый «продукт» тоже здесь?

– Конечно, сейчас я тебе покажу, – Маша взяла Баланова за руку и повела вверх по лестнице. Под ногами загремели металлические ступени, плохо подогнанный деревянный настил с темно-коричневыми пятнами сучков.

Они прошли до середины одного из мостков, и Баланов, перевесившись через поручень, заглянул в чан. Внизу плескалась знакомая киселеобразная жидкость – только не было ни картины, ни муравья, ни ночного кошмара.

– Господи, – Баланов опустился на колени и, просунув руку через прутья, попробовал дотянуться до поверхности существа. Не хватило каких-нибудь двух сантиметров. – Что же вы с ним сделали?

– Зря ты его жалеешь, – с неожиданной жестокостью проговорила Маша. – Их мир

переваривает нас, почему же мы должны оставить в покое его?

— Зачем было туда лезть?! — разозлился Баланов. — Кто вас просил?! Эта несчастная слизь?! Или, быть может, ученые, превратившиеся черт знает во что?! Ваша дрянь почти добралась до Илимска и скоро устроит там второй муравейник, но теперь уже под открытым небом!

— Как до Илимска? — не поверила Маша.

— А вот так! Ты не видела, что там творится. Дикие природные аномалии, карантин. С меня взяли подписку о невыезде на целых пять лет! Называется, приехал поработать!

— Вот и работайте! — раздалось из-за спины.

Баланов резко обернулся, узнав голос. Перед ним, в сопровождении двух лаборантов, стоял начлаб.

— Юрий Серафимович, — сухим тоном сказал он, — не припомните, для чего я вас нанимал?

6

— Чужой мир — он нас с тысяча девятьсот шестьдесят второго года неторопливо так, обстоятельно переваривает, — сказал Кирилл Мефодьевич. Он сидел на краю кровати, брезгливо подобрав ноги, и недовольно морщил нос. Запах тут стоял, конечно, жуткий. Баланов равнодушно отвернулся. Ему было плевать. Он уже несколько дней не выходил из комнаты, не вставал с кровати, кроме как в туалет; не брался и не ел; только пил воду из-под крана, лежал и смотрел в плохо побеленный, потрескавшийся, далекий потолок. Там ему виделось небо.

Иногда Баланов поворачивался и разговаривал с голубым бегемотом, называя его «дружище монстр». Иногда брал брелок и говорил Маше, какие у нее красивые коленки; ах, черт возьми, я опять так устал на работе; чертова Машина Смерти; я хочу тебя видеть; Маша, Маша, куда ты ушла? Я люблю тебя, Маша. Скажи, я правильно поступаю?

Маша молчала. Маша не могла ответить.

— Центр спроектирован, как гигантский муравейник — это вы, наверное, заметили, Юра, — рассказывал Коршун. — Ходы сообщения, хранилища, жилые помещения для рабочих муравьев и муравьев-солдат. Уже тогда нас обрабатывали...

Абрамов молча застыл посреди комнаты огромной неподвижной колонной. После смерти Маши он осунулся и пожелтел, высох. Казалось, даже гордый нос ученого стал меньше — как лайнер у вечной пристани, съеденный коррозией.

Коршун и Абрамов уже несколько дней приходили вместе. Баланов не знал, зачем — вернее, не хотел знать.

— Мы ничего не можем сделать. Открыли струну...

— Окно в космическую Европу, — с издевкой произнес Баланов. Он сам не знал, что его так зацепило в словах Коршуна. Баланов даже повернулся на своем топчане. Кирилл Мефодьевич поднял голову, заговорил живее и энергичнее — словно пробился нефтяной фонтан, и теперь бурильщики подставляли радостные лица черному золоту.

— Знаете, Юра, это напоминает кристаллическую решетку — под действием силы притяжения молекулы выстраиваются в определенном порядке. Вот смотрите. Молекула состоит из...

— Где Маша? — спросил Баланов сипло. Фонтан заткнулся.

Баланов поднялся, преодолевая сопротивление расслабленного тела. Тело привыкло лежать и хотело это делать. Тело вошло во вкус. Баланов застонал, чувствуя, как застоявшаяся кровь лениво разбегается по венам и артериям. Зудела щетина. Он в раздражении поскреб подбородок — ногти отросли, как у гориллы. Болело все. Скрип суставов, кажется, слышен даже в зале Машины Смерти.

Кристаллическая решетка, подумал Баланов. Нас притяжением ставит на место. Вот так, люди, вот так Земля. Чужой мир, в который мы вляпались, как в дермо, кушает нас, тварь. Такое вот активное деръмецо. Обхватывает жертву и медленно начинает переваривать. Знакомьтесь, это я. Пропитывает желудочным соком.

Баланов потянулся. Коршун смотрел на него с надеждой.

— Юра, маленький, наконец-то...

— Ну, обманули они наши инстинкты — но разум нам на что-то дан?! — хрипло сказал Баланов. — Или приставка сапиенс — это и есть приставка, одно хомо осталось — жрущее, пьющее и...

— Трахающееся! — произнес незнакомый голос.

Баланов поперхнулся. Он не сразу понял, что это заговорила молчаливая статуя.

— Их надо трррахнуть! — произнес Абрамов скрипучим голосом, похожим на голос какой-то диковинной птицы. В глазах ученого разгорался мрачный темный огонь.

— Надо, — согласился Баланов. — Вот только умоюсь, и...

Где-то рядом заплакал ребенок. Баланов с ученым повернулись, как по команде.

— Что за херня? — спросил Абрамов вполне нормально, без маньячных ноток. Баланов невольно улыбнулся. Блин, губы тоже отвыкли.

— Сейчас, маленький, сейчас, — суетился Коршун. — Папа уже здесь, папа тебя покормит... Извините! — сказал он Баланову. Отшел в сторону, склонился над игрушкой. Тамагочи сначала жалобно попискивал, потом заорал. Коршун выругался про себя, начал жать на кнопки.

— Надо их трахнуть, — сказал Абрамов. — Сообщить властям.

— А вы знаете, как? — скептически спросил Баланов. — Думаете, меня отсюда выпустят?

Думаете, вас...

Тамагочи громко, съito заурчал.

Они невольно повернулись в сторону звука.

Коршун поднял голову, вытер пот со лба; посмотрел на заговорщиков, как человек, сделавший трудное, тяжелое, но очень важное дело — и улыбнулся.

— Игоряша кушает, — сказал он.

Баланов с ученым переглянулись.

— Машина Смерти, — заговорил Абрамов, словно возвращаясь к прерванному разговору. — Без нее они беспомощны, — он помолчал, покачал головой. — Нет, надо уничтожить все гнездо. Понимаете, Юра? Но я не знаю...

— Я знаю, — сказал Баланов. — Они хотят, чтобы я починил Машину. Я им ее починю.

Проводив гостей (за дверью стояли неподвижные фигуры — Баланов узнал Яника-Ярика, хмурого и молчаливого, и кого-то еще из тех, кого видел в столовой), он вернулся и сел на кровать. Ожесточенно поскреб заросший подбородок. Надо бы помыться и вычистить грязь из-под ногтей. Надеть чистое. Побриться. Потом. Все потом. Сначала принять решение.

Прислоненный к вазе с печеньем, стоял брелок с обнаженной моделью.

Баланов сел рядом и долго смотрел.

– Маша, я правильно поступаю? – спросил он, наконец.

Модель светилась розовыми коленками и молчала.

Ремонт Машины Смерти закончился спустя восемь дней, три часа и двенадцать минут.

…Дорогу Янику заступил высокий, похожий на башенный кран, человек. В руках у него был длинный пожарный топор.

Яник невольно притормозил, оскалился.

– Тррррахнуть! – сказал Абрамов скрипуче. И замахнулся…

Дальнейшее Баланов не видел – только слышал за спиной крики, стук, звуки падающих тел. Он бежал так, как никогда в жизни не бегал. Я починил вашу чертову Машину, думал он. Маша, не подведи.

Навстречу ему выскочил Коршун, показывая: туда, туда, в другую сторону. Они побежали вместе. Казалось, что коридоры полны желтой яблочной мякоти. И с каждым шагом ее все труднее продавливать. Гудение вентиляторов смешалось с хриплым, надсаженным дыханием. Сердце стучало в висках.

Коршун начал отставать. Баланов развернулся, побежал, схватил под руку. Быстрее, быстрее. Вперед! Сейчас Машина выполнит блок программ запуска…

Вдвоем они сбавили темп. Коршун не мог бежать быстро, задыхался, он был намного старше, в худшей форме. Баланов выругался. Обернулся. В конце тоннеля ему почудились темные низкие тени.

Вдруг Коршун остановился, присел на корточки, шаря по карманам.

– Кирилл Меф!.. Тьфу ты! – Баланов сплюнул. – Кирилл! Бегом, вашу мать! Что же вы!

– Ничего, Юрий Серафимович, – сказал Коршун спокойно, не поднимая головы. В руках у него появился маленький желтый тамагочи. Тамагочи попискивал. – Вы бегите. Мы тут сами. У нас с Игоряющей свои дела. Сейчас мы только памперс поменяем…

– Какой еще памперс?! – закричал Баланов. – Сейчас рванет нахрен!

Кирилл Мефодьевич поднял голову и посмотрел на Баланова:

– Все будет хорошо, Юра. Поверьте.

Баланов выругался и побежал один. Сейчас дойдет до «главного Е». Вот сейчас. Держись, Маша. Он сунул руку в карман. Пальцами нашупал гладкий округлый камешек в сетке царапин. Иврит? Черт его знает. В языках Баланов не разбирался. Вместо этого камешка, зажатый в медных пластинах, остался маленький брелок…

Вдруг далеко за спиной, за толстыми бетонными перекрытиями и металлическими дверями словно обрушилось что-то огромное, угробно зарокотало, покатилось клокочущей волной по коридорам, перемалывая забранные решетками плафоны, пожарные датчики и щиты, ударило по ушам.

Последняя оставшаяся над головой лампа разлетелась, брызнула темно-желтыми

осколками, погружая коридор во тьму...

Маша, подумал Баланов, падая.

[**Купить полную версию книги**](#)